

ОКТАБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ВЕДЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — Рассказы
П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК — Дикое поле
А. КАРАВАЕВА — Лесозавод
МАТЭ ЗАЛКА — Забытый пароль
Мих. ШОЛОХОВ — Тихий Дон

С Т И Х И: В. Саянова, И. Садо-
фьева, Н. Ушакова, И. Доро-
нина, П. Уральского и др.

П О Э М А: М. СВЕТЛОВ — Клопы

ЖИЗНЬ НА ХОДУ: Л. Копылова —
Корова

ЛИТЕРАТУРА:

Г. ЯКУБОВСКИЙ — Мих. Алексеев
Л. АВЕРБАХ — Задачи пролетар-
ской литературы
Перед Всесоюзным съездом
пролетарских писателей
И. НОВИЧ — Уральская ассоциа-
ция пролетписателей

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

БНИГА 4

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О К Т Я Б Р Ъ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л
ВСЕСОЮЗНОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ
ПРОЛЕТАРСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

★

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

А П Р Е Л Ъ 1 9 2 8

М О С К О В С К И Й Р А Б О Ч И Й
М О С К В А * Л Е Н И Н Г Р А Д

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — История Елизара Федотыча (рассказ)	3
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — Выдели ли вы?	9
ПАВ. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК — Дикое поле (роман), окончание	12
АННА КАРАВАЕВА — Лесозавод (роман), про- должение	44
СТИХИ—В. Саянова, И. Садофьева, Н. Уша- кова, И. Дорониной, Б. Уральского, С. Щи- пачева, А. Зернова	91—101
МАТЭ ЗАЛКА — Забытый пароль (рассказ)	102
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон (роман), про- должение	113
М. СВЕТЛОВ — Клопы (глава фантастическая)	175

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

Л. КОПЫЛЕВА — Корова (очерк)	182
--	-----

ЛИТЕРАТУРА

Л. АВЕРБАХ — Против антипсихологизма Т. Курелла	193
Г. ЯКУБОВСКИЙ — Романы Михаила Алек- сеева	202
Всем ассоциациям пролетарских писа- телей	209
М. ГОРЕЦКИЙ — Белорусская литература	217
И. НОВИЧ — О пролетарских писателях Урала	226

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Вайсброд, Б. Киреев, Перекати-поле (Г. К.), А. Тарасенков, А. Селивановский, Ю. Да- вилини, В. Вешнев, И. Нович	230—240
--	---------

Т И Х И Й Д О Н

(Р о м а н)

*

М И Х. Ш О Л О Х О В

(Продолжение)

Часть третья

XII

11-Я КАВАЛЕРИЙСКАЯ дивизия после занятия Лешнюва с боем прошла через Станиславчик, Радзивилов, Броды и 15 августа развернулась возле города Каменка-Струмилово. Сзади шла армия, сосредоточивались на важных стратегических участках пехотные части, скоплялись на узлах штабы и обозы. От Балтики жгутом растягивался фронт. В штабах разрабатывались планы широкого наступления, над картами корпели генералы, мчались, развозя боевые приказы, ординарцы, сотни тысяч солдат шли на смерть...

Разведки доносили, что к городу стягиваются крупные кавалерийские силы противника. В перелесках возле дорог вспыхивали стычки — казачьи раз'езды входили в соприкосновение с неприятельскими разведками.

Григорий Мелехов все дни похода, после того как расстался с братом, пытался и не мог найти в душе точку опоры и вернуть себе прежнее ровное настроение.

С последней маршевой сотней влили в полк третьеочередников. Один из них, казак станицы Казанской, Алексей Урюпин, попал в один взвод с Григорием. Был Урюпин высок, сутуловат, с выдающейся нижней челюстью и калмыцкими косицами усов; веселые бесстрашные глаза его вечно смеялись; несмотря на возраст, светил он лысиной; лишь по бокам оголенного шишко-выпуклого черепа кустились редкие русые волосы. С первого же дня дали казаки ему прозвище «Чубатый». Под Бродами, после боя, полк отдыхал сутки. Григорий стоял с Чубатым в одной халупе. Они разговорились.

— Ты, Мелехов, какой-то линиялый.

— Как линиялый? — нахмурился Григорий.

— Квельый, вроде хворый, — пояснил Чубатый.

Они кормили на коновязи лошадей, курили, прислоняясь к обомшелому ветхому заборчику. По улице по четыре в ряд шли гусары; под заборами валялись неубранные трупы (вытесняя австрийцев, дрались на улицах предместья); чадный дымок сочился из-под развалин сожженной синагоги. Великое разрушение и мерзостную пустоту являл город в этот предвечерний, пышно расшитый красками час.

— Здоровый я, — не глядя на Чубатого сплюнул Григорий.

— Брешешь! Вижу.

— Чево видишь?

— Робеешь, сопатый? Смерти боишься?

— Глупой ты! — презрительно сказал Григорий и, щурясь, осмотрел ногти.

— А ежели скажу тебе, что убил человека, — чеканил, испытующе взглядываясь в лицо Григория, Чубатый.

— Убил. Ну?

— Стенить душа?

— Сте-нить?! — усмехнулся Григорий.

Чубатый выдернул из ножен шашку.

— Хочешь голову срублю?

— Потом.

— Убью и не вздохну! Нет во мне жалости.

Глаза Чубатого смеялись, но Григорий по голосу, по хищному трепету ноздрей понял, что говорит он серьезно.

— Дикой ты и чудак, — сказал Григорий, внимательно осматривая лицо Чубатого.

— У тебя сердце жидкое. А баклановский удар знаешь? Гляди!

Чубатый выбрал росшую в палисаднике престарелую березку и пошел прямо на нее, сутулясь, целясь глазами. Его длинные, жилистые, непомерно широкие в кисти руки висели неподвижно.

— Гляди!

Он медленно заносил шашку и, приседая, вдруг со страшной силой кинул вниз косой взмах. Березка, срезанная на два аршина от корня, падала, цепляя ветвями голые рамы окон, царапая стену дома.

— Видел? Учись! Бакланов атаман был — слышал? Шашка у него была — на стоке ртуть залитая, подчмать тяжело ее, а рубанет — коня пополам. Вот!

Григорий долго не мог усвоить сложной техники удара.

— Сильный ты, а рубить — дурак. Вот как надо! — учил Чубатый, и шашка его в косом полете разила цепь с чудовищной силой.

— Человека руби смело. Мягкий он, человек, как тесто, — поучал Чубатый, смеясь глазами. — Ты не думай, как и што. Ты — казак, твое дело — рубить не спрашивая. В бою убить врага — святое дело. За ка-

ждово убитово скашивает тебе бог один грех, тоже, как и за змею. Животную без potreбы нельзя губить — телка, скажем, или ишо што, а человека унистожай. Поганый он, человек... Нечисть, смердит на земле, живет вроде гриба-поганки.

На возражения Григория он поморщился и упрямо умолк.

Григорий с удивлением замечал, что Чубатого беспричинно пугались все лошади. Когда подходил он к коновязи, — кони пряли ушами, сбились в одну кучу, будто зверь шел к ним, а не человек. Под Станиславчиком сотня, наступая по лесистой и топкой местности, вынуждена была спешиться. Коноводы брали лошадей и от'езжали в лоцинку под прикрытие. Чубатому досталось коноводить, но он отказался наотрез.

— Урюпин, ты чево, сучье вымя, выкалываешься? Почему не берешь коней? — налетел на него взводный урядник.

— Они меня боятся. Ей-богу! — уверял тот, с постоянным смешком в глазах.

Он никогда не был коноводом, со своим конем обращался ласково, холил его заботой, но всегда замечал Григорий: как только хозяин подходит к нему, по привычке не шевеля прижатыми к бедрам руками, по спине коня волною шла дрожь, — конь беспокоился.

— Ты скажи, угодник, чево от тебя кони полохаются? — спросил как-то Григорий.

— Кто их знает! — пожал Чубатый плечами, — я их жалею.

— Пьяных по духу угадывают, боятся, а ты тверезый.

— Во мне сердце твердое. Они чувуют.

— Волчиное в тебе сердце, а может, и никакова нету. Камушек замест нево заложенный.

— Могеть быть, — охотно соглашался Чубатый.

Под городом Каменка-Струмилово 3-й взвод целиком со взводным офицером выехал в рекогносцировку. Накануне чех-перебежчик сообщил командованию о дислокации австрийских частей и предполагаемом контрнаступлении по линии Горши — Ставинцкий. Требовалось постоянное наблюдение за дорогой, по которой предполагалось передвижение частей противника; с этой целью взводный офицер оставил на опушке леса четырех казаков со взводным урядником, а с остальными поехал к видневшимся за взгорьем черепичным крышам какого-то выселка.

На опушке, возле старой остроконечной часовни с ржавым распятием, остались Григорий Мелехов, урядник, казак из молодых — Силантьев, Чубатый и Мишка Кошевой.

— Спешивайся, ребята! — приказал урядник. — Кошевой, отведи коней вон за энти сосны! Ну, да — вон за энти, какие погуще!

Казачья лежала под поломанной засохшей сосной, курили; урядник глаз не отрывал от бинокля. Шагах в десяти от них волнилось неубранное, растерявшее зерно жито. Выхолощенные ветром колосья горбились и скорбно шуршали. Полчаса пролежали казаки, перебрасываясь ленивыми фразами. Где-то правее города неумолчно колыхался оружейный гул. Григорий подполз к хлемам и, выбирая полные колосья, обминал их, жевал черствое перестоявшееся зерно.

— Никак австрийцы! — вполголоса воскликнул урядник.

— Где? — встретился Силантьев.

— Вон из леса. Правей гляди!

Кучка всадников выехала из-за дальнего перелеска. Остановившись, разглядывали поле, потом тронулись по направлению к казакам.

— Мелехов! — позвал урядник.

Григорий подполз к сосне.

— Подпустим ближе и вдарим залпом. Готовь винтовки, ребята, — лихорадочно шептал урядник.

Всадники, забирая вправо, двигались шагом. Четверо лежали под сосной молча, тая дыхание.

— ...аухт, капраль, — донесло ветром молодой звучный голос.

Григорий приподнял голову: шесть венгерских гусар, в красивых, расшитых шнурами куртках, ехали кучкой. Передний, на вороном крупном коне, держал на руке карабин и негромко, басовито смеялся.

— Крой! — шепнул урядник.

«Гу-гу-так!» — гукнул залп.

«Ака-ка-ка-как-ак...» — залаяло сзади эхо.

— Чего вы? — испуганно крикнул из-за сосен Кошевой по лошадям: — Тррр... проклятый, взбесился! Тю, чорт!

Голос его прозвучал отрезвляюще громко.

По хлемам скакали, разбившись цепью, гусары. Один из них, — тот, который ехал передним на сытом вороном коне, — стрелял вверх; последний, отставший, припадая к шее лошади, оглядывался, держал левой рукой кепи.

Чубатый вскочил первый и побежал, путаясь ногами в житах, держал наперевес винтовку. Сажень в стах взбрыкивала и сучила ногами упавшая лошадь; около нее без шапки стоял венгерский гусар, потирал ушиленное при падении колено. Он что-то крикнул еще издали и поднял вверх руки, оглядываясь на скакавших вдали товарищей.

Все это произошло так быстро, что Григорий опомнился только тогда, когда Чубатый подвел пленника к сосне.

— Сымай, вояка! — крикнул он, грубо рванул к себе палаш.

Пленник растерянно улыбнулся, засуетился. Он с готовностью стал снимать ремень, но руки его заметно дрожали — ему никак не удавалось отстегнуть пряжку. Пригорий осторожно помог ему, и гусар, — молодой, рослый, пухлощекий парень с крохотной бородавкой, прилепившейся на уголке бритой верхней губы, — благодарно ему улыбнулся, закивал головой. Он словно обрадовался, что его избавили от оружия, пошарил в карманах, оглядывая казаков, достал кожаный кисет и залопотал что-то, жестаами предлагая покурить.

— Угощает, — улыбнулся урядник, а сам уж щупал в кармане бу-мажку.

— Закуривай на-чужбьяк! — хохотал Силантьев.

Казаки свернули цыгарки, закурили. Черный трубочный табак крепко ударил в головы.

— Винтовка его где? — с жадностью затягиваясь, спросил урядник.

— Вот она, — показал Чубатый из-за спины простроченный жел-тый ремень.

— Надо его в сотню. В штабе, небось, нуждаются в языке. Кто погонит? — спросил урядник, обводя казаков посоловелыми глазами.

— Я... — вызвался Чубатый.

— Ну, гони!

Пленный, видимо, понял, заулыбался кривой жалкой улыбкой, пересиливая себя, он суетился, вывернул карманы и совал казакам помя-тый влажный шоколад.

— Русин их... русин... нейн австриц! — он коверкал слова, смежно жестикулировал и все совал казакам пахучий мятый шоколад.

— Оружие есть окромья? — спросил его урядник.

— Да ты не лопочи, не пойдем все одно! Ливорверт есть? Бах, бах есть? — урядник нажал мнимый спуск.

Пленный яростно замотал головой:

— Не есть! Не есть!

Он охотно дал себя обыскать; пухлые щеки его дрожали, из ра-зорванных на колене рейтуз стекала кровь, виднелась на розовом теле ссадина. Он прикладывал к ней носовой платок, морщился, чмокал гу-бами, безумолчно говорил... Кепи его осталось возле убитой лошади. Он просил позволения сходить взять одеяло, кепи и записную книжку — в ней ведь фотография его родных. Урядник тщетно си-лился его понять и безнадежно махнул рукой.

— Гони!

Чубатый взял у Кошеного своего коня, сел и, поправляя винтовоч-ный ремень, указал рукой.

— Иди, служивый! Тоже вояка, едрена-матрена!

Поощренный его улыбкой, пленный улыбнулся и, шагая рядом с лошадей, даже с заискивающей фамильярностью хлопнул ладонью по сухой голени Чубатого. Тот сурово откинул его руку и натянул поводья, пропуская его вперед.

— Иди, чорт! Шутки шутишь?

Пленный виновато заторопился, пошел уже серьезный, часто оглядываясь на оставшихся казаков. Белесые его вихры задорно торчали на макушке. Таким он и остался в памяти Григория: накинутаая внапашку расшивная гусарская куртка, белесые, сторчмя поднятые вихры и уверенная бравая походка.

— Мелехов, поди ево коня расседлай! — приказал урядник и с сожалением флюнул на остаток цыгарки, уже припекавшей пальцы.

Григорий снял с убитой лошади седло, зачем-то поднял лежавшую неподалеку шапку. Он понюхал подкладку, ощутил пряный запах дешевого мыла и пота. Нес седло и бережно держал в левой руке гусарское кепи.

Казаки, сидя на корточках у сосны, копались в сумах, рассматривали невиданной формы седло...

— Табачок хорош у него! Надо б ишо на цыгарку попросить, — пожалел Силантьев.

— Да што верно — то верно: хорош табак! Будто ажник сладкий, так маслом по глотке и идет!

Урядник вздохнул при воспоминании и проглотил слюну.

Спустя несколько минут из-за сосны показалась голова лошади — Чубатый ехал обратно.

— Ну?.. — испуганно вскочил урядник: — упустил?

Помахивая плетью, Чубатый под'ехал, спешился, потянулся, разминая плечи.

— Куда дел австрийца? — допытывался, подступая, урядник.

— Чево лезешь? — огрызнулся Чубатый. — Побег он... думал убечь...

— Упустил?

— Выехали на просеку, он и ахнул... Срубил я ево.

— Брешешь ты! — крикнул Григорий. — Зря убил!

— Ты чево шумишь? Тебе какое дело?

Чубатый поднял на Григория ледяные глаза.

— Ка-а-ак?

Григорий медленно привставал, шарил вокруг себя подпрыгивающими руками.

— Не лезь, куда не надо. Понял... а? Не лезь! — строго повторил Чубатый.

Рванув за ремень винтовку, Григорий стремительно вскинул ее к плечу. Палец его прыгал, не попадая на спуск, странно косилось побуревшее лицо.

— Но-ню! — угрожающе вскрикнул урядник, подбегая к Григорию.

Толчок опередил выстрел, и пуля, обивая хвою с сосен, запела тягуче-нудно.

— Што ж это?! — ажнул Кошевой.

Силантьев как сидел с раскрытым ртом, так и остался; урядник, пихая Григория в грудь, вырывал у него винтовку. Лишь Чубатый не изменил положения: он все так же стоял, вольно отставив ногу, держался левой рукой за пояс.

— Стреляй ишо!

— Убью! — рванулся к нему Григорий.

— Да вы што? Как это?.. Под суд, под расстрел хотите? Клади оружие!.. — заорал урядник и, отпихнув Григория, стал между ними, распятым расклячив руки.

— Бреешь — не убьешь! — сдержанно смеялся Чубатый, подпрыгивая отставленной ногой.

На обратном пути, уже в сумерках, Григорий первый заметил на просеке труп зарубленного. Он подскакал первый; удерживая всхрапывающего коня, опережая остальных, всмотрелся: на курчавом мхе, далеко откинув вывернутую руку, плашмя, зарывшись лицом в мох, лежал зарубленный. На траве тускло, осенним листом желтела ладонь. Ужасающий удар, нанесенный, по всей вероятности, сзади, расклинил австрийца на двое: от плеча наискось до пояса.

— Полохнул он ево... — глухо проговорил урядник, проезжая, испуганно косясь на белесые вихры убитого, никло торчавшие на покривленной голове.

Казаки ехали молча до места стоянки сотни. Сгущались сумерки. Черную перистую тучу гнал с запада ветерок. Откуда-то с болота подползал пресный запах мочажинника, ржавой сырости, гнильи; гукала выль. Дременная тишина прерывалась звяком конской сбруи, случайным стуком шашки о стремя, хрустом хвои под копытами лошадей. Над просекой меркли на стволах сосен темнорудые следы ушедшего солнца. Чубатый часто курил. Тлеющий огонек освещал его толстые, с вытуклыми черными ногтями пальцы, твердо когтившие цыгарку.

Туча надплывала над лесом, подчеркивая, сгущая кинутые на землю линиялы, непередаваемо грустные краски вечера.

XIII

Операция по захвату города началась с раннего утра. Пехотные части, имея на флангах и в резерве кавалерию, должны были повести наступление от леса с рассветом. Где-то произошла путаница: два полка пехоты не пришли во-время. 211-й стрелковый полк получил распоряжение перебраться на левый фланг. Во время обходного движения, предпринятого другим полком, его обстреляла своя же батарея. Творилось несуразное; губительная путаница коверкала планы, и наступление грозило окончиться если не разгромом наступающих, то, во всяком случае, неудачей. Пока перетасовывалась пехота, выручали артиллеристы упряжки и орудия, по чьему-то распоряжению направленные ночью в болото, — одиннадцатая дивизия пошла в наступление. Лесистая и болотистая местность не позволяла атаковать противника широким фронтом — на некоторых участках эскадронам нашей кавалерии приходилось идти в атаку повзводно. 4-я и 5-я сотня 12-го полка были отведены в резерв, остальные уже втянулись в волну наступления, и до оставшихся через четверть часа донесло гул и трясущий рвущийся вой:

«Ррра-а-а!... Ра-а-а-а-ррр-а-а!...»

— Тронулись наши.

— Пошли.

— Пулемет-то частит.

— Наших, должно, выкашивает...

— Замолчали... а?

— Добираются, значит!

— Зараз и мы любовинку потянем! — отрывочно переговаривались казаки.

Сотни стояли на лесной поляне. Крутые сосны жали глаз. Мимо чуть ли не на-рысах прошла рота солдат. Молодецкий, затянутый фельдфебель приотстал, пропуская последние ряды, крикнул хрипато:

— Не мни ряды!

Рота протоптала, звякая манерками, и скрылась за ольховой зарослью.

Совсем издалека, из-за лесистого увала, удаляясь, опять приплыл ослабевший перекатистый крик: «Рра-а-а! Урр-ррра-а-а... А-а-а-а!...» — и сразу, как обрезанный, крик смолк. Густая нудная нависла тишина.

— Вот когда добрались!

— Ломают один одново... Секутся!..

Все напряженно вслушивались, но тишина стояла непроницаемая. На правом фланге громила наступающих австрийская артиллерия, и частой строчкой прошивали слух пулеметы.

Мелехов Григорий оглядывал взвод. Казаки нервничали, кони беспокоились, будто овод жалил. Чубатый, повесив на луку фуражку, вытирал сизую, потную лысину; рядом с Григорием жадно напивался мажорочным дымом Мишка Кошевой. Все предметы вокруг были отчетливы и преувеличенно реальны, — так бывает, когда не спишь всю ночь.

Сотни простояли в резерве часа три. Стрельба утихала и нарастала с новой силой. Над ними прострекотал и дал несколько крутых чей-то аэроплан. Он кружился на недоступной высоте и полетел на восток, забирая все выше. Над ним в голубом плесе вспыхнули молочные дымки шрапнельных разрывов — били из зенитки.

Резерв ввели в дело к полдню. Уже искурен был весь запас мажорки, и люди изныли в ожидании, когда прискакал ординарец-гусар. Сейчас же командир четвертой сотни вывел сотню на просеку и повел куда-то в сторону (Григорию казалось, что едут они назад). Минут двадцать ехали по чаще, смяв построение. К ним все ближе подползали звуки боя; где-то неподалеку сзади беглым огнем садила батарея; над ними с клеткотом и скрежетом, одолевая сопротивление воздуха, проносились снаряды. Сотня, расчлененная блужданием по лесу, в беспорядке высыпала на чистое. В полуверсте от них, на опушке, венгерские гусары рубили прислугу русской батареи.

— Сотня, стройся!

Не успели разомкнуть строй.

— Сотня, шашки вон! В атаку марш...э... марш!

Голубой ливень клинков. Сотня, увеличивая рысь, перешла в намет.

Возле запряжки крайнего орудия суетилось человек шесть венгерских гусар. Один из них тянул под уздцы взноровившихся лошадей; на крайней, обняв руками конскую шею, сидел зарубленный ездовой, второй бил их палашом; остальные, спешенные, пытались стронуть орудие, помогали, вцепившись в спицы колес. В стороне, на куцехвостой, шоколадной масти кобылице гарцовал офицер. Он отдавал приказания. Венгерцы увидели казаков и, бросив орудие, поскакали.

«Вот так, вот так, вот так!» — мысленно отсчитывал Григорий конские броски. Нога его на секунду потеряла стремя, и он, чувствуя свое неустойчивое положение на седле, ловил стремя с внутренним страхом; свесившись, поймал, провздел носок и, подняв глаза, увидел орудийную запряжку шестерней, на передней — зарубленного ездового в заплывленной кровью и мозгами рубахе, обнявшего руками конскую шею. Копыта коня опустились на хрустнувшее под ним тело убитого номерного. Возле опрокинутого зарядного ящика лежало еще двое, третий навзничь опрокинулся на лафете. Опередив Григория скакал Силантьев. Его почти в упор застрелил венгерский офицер на куце-

хвостой кобылице. Подпрыгнув на седле, Силантьев падал, ловил, обнимал руками голубую даль... Григорий дернул поводья — норовя зайти с правой подручной стороны, чтоб удобней было рубить; офицер, заметив его маневр, выстрелил из-под руки. Он расстрелял в Григория револьверную обойму и выхватил палаш. Три сокрушительных удара он, как видно, искусный фехтовальщик, отразил играючи. Григорий, кривя рот, настиг его в четвертый раз, привстал на стремянах (лошади их скакали почти рядом, и Григорий видел пепельно-серую, тугую, бритую щеку венгерца и номерную нашивку на воротнике мундира); он обманул бдительность венгерца ложным взмахом и, изменив направление удара, ширнул концом палаша меж лопаток, второй удар нанес в шею, где кончается позвоночный столб. Венгерец, роняя руку с палашом и поводья, выпрямился, выгнул грудь, как от укуса, слег на луку седла. Чувствуя чудовищное облегчение, Григорий рубнул его по голове. Он видел, как шашка по стоки в'елась в кость выше уха.

Страшный удар в голову сзади вырвал у Григория сознание. Он ощутил во рту горячий рассол крови и понял, что падает; откуда-то сбоку, кружась, стремительно неслась на него одетая живьем земля.

Жестокий толчок при падении на секунду вернул его к действительности. Он открыл глаза, — омывая их, залила кровь. Топот у уха и тяжкий дых лошади: «хап, хап, хап!» В последний раз открыл он глаза, увидел раздутые розовые ноздри лошади и чей-то пронизавший стремя сапог.

«Все!» — змейкой скользнула облегчающая мысль. Гул и черная пустота.

XIV

В первых числах августа сотник Евгений Листницкий решил переставиться из лейб-гвардии Атаманского полка в какой-либо казачий армейский полк. Он подал рапорт и через две недели выхлопотал себе назначение в один из полков, находившихся в действующей армии. Оформив назначение, он перед отъездом из Петербурга известил отца о принятом решении коротким письмом:

«Папа, я хлопотал о переводе меня из Атаманского полка в армию. Сегодня я получил назначение и уезжаю в распоряжение начальника 2-го корпуса. Вас, по всей вероятности, удивит принятое мною решение, но я объясняю его следующим образом: меня тяготила та обстановка, в которой приходилось вращаться. Парады, встречи, караулы, — вся эта дворцовая служба набила мне оскомину. Приелось все это до тошноты, хочется живого дела и... если хотите, подвига. Надо полагать, что во мне сказывается славная кровь Листницких (тех, которые, начиная с отечественной войны, вплетали лавры в венок русского

оружия). Еду на фронт. Прошу вашего благословения. На этой неделе я видел императора перед отъездом в ставку. Я обожествляю этого человека. Я стоял во внутреннем карауле во дворце. Он шел с Родзянко и, проходя мимо меня, улыбнулся, указывая на меня глазами, сказал по-английски: «Вот моя славная гвардия. Ею в свое время я побью карту Вильгельма». Я обожаю его, как институтка. Мне не стыдно признаваться вам в этом, даже несмотря на то, что мне перевалило за 28. Меня глубоко волнуют те дворцовые сплетни, которые паутиной путают светлое имя монарха. Я им не верю и не могу верить. Наднях я едва не застрелил есаула Громова за то, что он в моем присутствии осмелился непочтительно отозваться о ее императорском величестве. Это гнусно, и я ему сказал, что только люди, в жилах которых течет холопская кровь, могут унизиться до трязной сплетни. Этот инцидент произошел в присутствии нескольких офицеров. Меня охватил пароксизм бешенства, я вытащил револьвер и хотел истратить одну пулю на хама, но меня обезоружили товарищи. С каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клоаке. В гвардейских полках, в офицерстве, в частности, нет того подлинного патриотизма, страшно сказать, нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим в сущности объясняется мой разрыв с полком. Я не могу общаться с людьми, которых не уважаю. Ну, кажется, все. Прости за некоторую несвязность, спешу, надо увязать чемодан и ехать к коменданту. Будь здоров, папа. Из армии пришло подробное письмо. Твой Евгений».

Поезд на Варшаву отходил в восемь часов вечера. Листницкий на извозчике доехал до вокзала. Сзади в сизовато-голубом мерцании огней лег Петербург. На вокзале тесно и шумно. Преобладают военные. Носильщик уложил чемодан Листницкого и, получив мелочь, пожелал их благородию счастливого пути. Листницкий снял португепю и шинель и, развязав ремни, постелил на скамье цветасто-шелковое кавказское одеяло. Внизу у окна, разложив на столике домашнюю снедь, закусывал худой, с лицом аскета, священник. Отряхая с волокнистой бороды хлебные крошки, он угощал сидевшую против него смуглую мозглявенькую девушку в форме учащейся.

— Отпробуйте-ко. А?

— Благодарю вас.

— Полноте стесняться, вам, при вашей комплекции, надо больше кушать.

— Спасибо.

— Ну, вот ватрушечки испробуйте. Может быть, вы, господин офицер, отведаете?

Листницкий свесил голову.

— Вы мне?

— Да-да,— буравил его священник упрямыми, цвета камня-самоходка, глазками и улыбался одними тонкими губами, под невеселой порослью волокнистых в проталинках усов.

— Спасибо. Не хочу.

— Напрасно. Входящее в уста не оскверняет. Вы не в армию?

— Да.

— Помогай вам бог!

Листницкий сквозь пленку дремы ощущал будто издалека добравшийся до слуха густой голос священника и мнилось уже, что это не священник говорит жалующимся басом, а есаул Громов.

— ... Семья, знаете ли, бедный приход. Вот и еду в полковые духовники. Русский народ не может без веры. И год от года, знаете ли, вера крепнет. Есть, конечно, такие, что отходят, но это из интеллигенции, а мужик за бога крепко держится. Да... Вот так-то... — вздохнул бас, и опять поток слов, уже не проникающих в сознание.

Листницкий засыпал, последнее, что ощутил наяву, — запах свежей краски от досчатого в мелкую полоску потолка и окрик за окном:

— Багажная принимала, а мне дела нет!

«Что багажная принимала?» — ворохнулось сознание, и ниточка незаметно оборвалась. Освежающий после двух бессонных ночей навалился сон. Проснулся он, когда поезд оторвал уж от Петербурга верст сорок пространства. Ритмично татакали колеса, вагон качался, волнуемый рывками паровоза. Где-то в соседнем купе вполголоса пели; лиловые косые тени бросал фонарь.

Полк, в который получил назначение сотник Листницкий, понес крупный урон в последних боях, был выведен из сферы боев и спешно ремонтировался конским составом, пополнялся людьми.

Штаб полка находился в большой торговой деревне Березняги. Листницкий вышел из вагона на каком-то безымянном полустанке. Там же выгрузился походный лазарет. Справившись у доктора, куда направляется лазарет, Листницкий узнал, что лазарет перебрасывается с юга-западного фронта на этот участок и сейчас же тронется по маршруту Березняги — Ивановка — Крышовинское. Большой багровый доктор очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, промил штабных из дивизии и, лохматя бороду, поблескивая из-под золотого пенсне злыми глазками, изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником.

— Вы меня можете подвезти до Березнягов? — перебил его на полуслове Листницкий.

— Садитесь, сотник, на двуколку. Поезжайте,— согласился доктор и, фамильярно покручивая пуговицу на шинели сотника, ища сочувствия, грохотал сдержанным басом.

— Ведь вы подумайте, сотник, протрястись двести верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, два дня шли кровопролитнейшие бои, осталась масса раненых, которым срочно нужна была наша помощь. (Доктор с злым сладострастием повторил «кровопролитнейшие бои», налегая на «р», припрыкивая).

— Чем же объяснить эту несурзаицу? — из вежливости поинтересовался сотник.

— Чем? — доктор иронически вспялил поверх пенсне брови, рыкнул: — безалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, — вот чем. Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с. Повторяем в квадрате-с!

Листницкий откозырял, направился к транспорту, вслед ему, сотрясая в багровопрожилых сумки щек, каркал сердитый доктор:

— Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем — так что уж там!.. — пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блесками, сокрушенно мотая копностой головой.

Смеркалось, когда лазарет под'ехал к Березнягам. Желтую щетину жнивья быстрил ветер. На западе громоздились тучи — вверху фиолетово чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную свою окраску и, меняя тона, лили на тусклую ряднину неба нежно-сиреневый дымчатый отсвет; в середине вся эта бесформенная громада, набитая, как крыги в ледоход на заторе, рассачивалась, и в пролом неослабно струился апельсинного цвета поток закатных лучей. Он расходился брызжащим веером, преломляясь и пылясь вонзался отвесно, а ниже пролома сплетался в вакханальный спектр красок.

У придорожной канавы лежала пристреленная рыжая лошадь. Задняя нога ее, дико задранная кверху, блестела полустертой подковой. Листницкий, подпрыгивая на двуколке, разглядывал лошадиный труп. Ехавший с ним санитар пояснил, сплевывая на вздувшийся бугор живота.

— Зерна обожралась... об'елась, — поправился он, взглянув на сотника, хотел еще раз сплюнуть, но слюну проглотил из вежливости, вытер губы рукавом гимнастерки, — издохла, а убрать — не надо, вот ведь русский народ какой! У германцев, — у тех не по-нашему.

— А ты почему знаешь? — беспричинно злобно спросил Листницкий и в этот момент также беспричинно и остро возненавидел равнодушное, с оттенком превосходства и презрения, лицо санитаря. Оно было серовато, скучно, как сентябрьское поле в жнивье; ничем не отличалось от тысячи других мужицко-солдатских лиц, тех, которых

встречал и догонял сотник на пути от Петербурга к' фронту. Все они казались какими-то вылинявшими, тупое застыло в серых, голубых, зеленоватых и иных глазах, и крепко напоминали эти лица хожалые, давнишнего чекана медные монеты.

— Я в Германии три года до войны прожил, — не спеша ответил санитар; в оттенке его голоса прозвучало тоже превосходство и презрение, которые уловил сотник во взгляде.— Я в Кенингсберге на сигарной фабрике работал,— скущающе фронял санитар, погоняя маштака узлом ременной вожжи.

— Помолчи-ка! — строго сказал Листницкий и повернулся, оглядывая голову лошади с упавшей на глаза чолкой и обнаженным, обветрившим на солнце оскалом зубов.

Нога ее была согнута в коленном сгибе, копыто чуть растрескалось от ухналей, но раковина плотно светлела сизым глянцем, и сотник по ноге, по тонко точеной бабке определил, что лошадь была молодая и хорошей породы.

Двуколка, подпрыгивая по кочковатому проселку, от'езжала дальше. Меркли краски на западной концевине неба, рассасывал ветер тучи. Нога мертвой лошади чернела сзади бесголовой часовней. Листницкий все смотрел на нее, и вдруг на лошадь круговиной упал снопик лучей, и нога, с плотно прилегшей рыжей шерстью, неотразимо зацвела, как некая чудесная безлистная ветвь, окрашенная апельсинно-оранжевым цветом.

Уже на в'езде в Березняги лазарет встретился с транспортом раненых. Пожилой бритый белорусс, — хозяин первой подводы, — шел около лошади, намотав на фуку веревочные вожжи. На повозке, облокотившись, лежал казак без фуражки, с забинтованной головой. Он, устало закрыв глаза, жевал хлеб и выплевывал черную пережеванную кашицу. С ним рядом лежал плашмя солдат. На ягодицах у него топорщились безобразно изорванные, покоробленные от спекшейся крови штаны. Солдат, не поднимая головы, дико ругался. Листницкий ужаснулся, вслушиваясь в интонации голоса,— так молятся крепко верующие. На второй повозке внакат лежало человек шесть солдат. Один из них, лихорадочно веселый, рассказывал, щуря воспаленные горячечные глаза:

— ... будто приезжал посол от ихова императора и делал предлог заключать мир. Главное, верный человек... в надежде я,—он не сбрешет.

— Навряд, — сомневался второй, качая круглой головой со следами давнишней золотухи.

— Подожди, Филипп, может быть, что и правда приезжал,— мягким волжским говорком отзывался третий, сидевший к встречным спиной.

На пятой подводке краснелись околыши казачьих фуражек. Трое удобно разместились на широком возу, молча глядели на Листницкого, и на их запыленных суровых лицах не было и тени той почтительности, которую видишь в строю.

— Здорово, станичники, — приветствовал их сотник.

— Здравия желаем, — вяло ответил крайний к подводчику красивый, серебряноусый и бровястый казак.

— Какого полка? — спросил Листницкий, пытаясь разглядеть номер на синем погоне казака.

— Двенадцатого.

— Где сейчас ваш полк?

— Не можем знать.

— Ну, где вас ранило?

— Под деревней тут... недалеко.

Казак о чем-то пошептался, и один из них, придерживая здоровой рукой раненую, завязанную холстинным лоскутом, соскочил с повозки.

— Ваше благородие, погодите чуток! — Он бережно нес простреленную, тронутую воспалением руку, шел по дороге, улыбаясь Листницкому и увалисто переставляя босые ноги.

— Вы не Вешенской станицы? Не Листницкий?

— Да-да.

— То-то мы угадали, Ваш благородие, не будет ли закурить? Угостите, Христа ради, помираем без табаку!

Он держался за крашенный бок двуколки, шел рядом. Листницкий достал портсигар.

— Вы б нам уважили с десяточек. Нас ить трое, — просительно улыбнулся казак.

Листницкий высыпал ему на коричневую об'емистую ладонь весь запас папирос, спросил:

— Много в полку раненых?

— Десятка два.

— Потери большие?

— Много побито. Зажгите, ваш благородие, огоньку. Благодарствуйте! — казак, прикуривая, отстал, крикнул вдогон: — С Татарскова хутора, што возля вашево имения, троих ноне убило.

Он махнул рукой и пошел догонять свою подводку. Ветер ворошил на нем неподпоясанную защитную гимнастерку.

Командир полка, в который получил назначение сотник Листницкий, стоял в Березнягах на квартире у священника. Сотник распрощался на площади с врачом, гостеприимно предоставившим ему место на санитарной двуколке, и пошел, на ходу отряхая мундир от пыли,

расспрашивая у встречных о местопребывании штаба полка. Навстречу ему бородач-фельдфебель, пламенно-рыжий, вел солдат в караул. Он козырнул сотнику, не теряя ноги ответил на вопрос и указал дом. В помещении штаба было затишно, как и во всяком штабе, находящемся подалеку от передовых позиций. Писарья никли над большим столом, у трубки полевого телефона пересмеивался с невидимым собеседником престарелый есаул. На окнах просторной хаты брнужали мухи, и по-комариному ныли далекие телефонные звонки. Вестовой провел сотника к командиру полка на квартиру. В передней недружелюбно встретил его высокий, с треугольным шрамом на подбородке, чем-то расстроенный полковник.

— Я командир полка,— ответил он на вопрос и, выслушав о том, что сотник честь имеет явиться в его распоряжение, молча, движением руки пригласил его в комнату.

Уже закрывая дверь за собой, он поправил волосы жестом беспредельной усталости, сказал мягким монотонным голосом:

— Мне вчера передали об этом из штаба бригады. Прошу садиться.

Он расспрашивал у Листницкого о прежней службе, о столичных новостях, о дороге; и за все время короткого их разговора ни разу не поднял на собеседника отягощенных какой-то большой усталостью глаз.

«Надо полагать, что задалось ему на фронте. Вид у него смертельно усталый», — соболезнующе подумал сотник, разглядывая высокий умный лоб полковника; но тот, словно разубеждал его, эфесом шапки почесал переносье, сказал:

— Подите, сотник, познакомьтесь с офицерами, я, знаете ли, не спал три ночи. В этой глухомани нам, кроме карт и пьянства, нечего делать.

Листницкий, козыряя, таил в усмешке жесткое презрение. Он ушел, неприязненно вспоминая встречу, иронизируя над тем уважением, которое невольно внушил ему усталый вид и шрам на широком подбородке полковника.

XV

Дивизия получила задание форсировать реку Стырь и около Ловишчей выйти противнику в тыл.

Листницкий за несколько дней сжился с офицерским составом полка, его быстро втянула боевая обстановка, вытравляя прижившийся в душе уют и мирную дрему.

Операция по форсированию реки была выполнена дивизией блестяще. Она ударила с левого фланга значительной группе войск про-

тивника и вышла в тыл. Под Ловищей австрийцы при содействии мадьярской кавалерии пытались перейти в контрнаступление, но казачьи батареи смяли их шрапнелью; развернутые мадьярские эскадроны отступали в беспорядке, уничтожаемые фланговым пулеметным огнем, преследуемые казаками. Листницкий с полком ходил в контратаку, дивизион их наседали на отступающего неприятеля. Третий взвод, которым командовал Листницкий, потерял одного казака убитым и четырех ранеными. С внешним спокойствием сотник проехал мимо Лощенова, он старался не слушать его хриплого низкого голоса. Лощенов — молодой горбоносый казак Краснокутской станицы — лежал придавленный навалившимся на него убитым конем. Он был ранен в предплечье, лежал тихо скалясь, просил проезжавших мимо казаков.

— Братушки, не покиньте! Ослобоните, братушки...

Низкий, иссеченный мукой голос звучал тускло, но не было в мятущихся сердцах проезжавших казаков сострадания, а если и было, то воля, не давая ему просачиваться, мяла и давила неослабно. Взвод пять минут ехал шагом, давая передышку хрипевшим от скачки лошадям. В полверсте расстояния от них уходили расстроенные эскадроны мадьяр. Между их красивыми, в опушке куртками мерезжились сине-серые мундиры пехотинцев. По гребню сползал австрийский обоз, над ним прощально взмахивали молочные дымки шрапнелей. Откуда-то слева по обозу беглым огнем садилась батарея. Гулкие раскаты стлались по полю, находя в ближнем лесу многоголосые отклики.

Войсковой старшина Сафронов, ведущий дивизион, окомандовал — рысью... и три сотни, рассыпаясь, вытягиваясь, пошли тяжелой трусдой. Лошади под всадниками качались, желто-розовыми цветами падала с них пена.

Эту ночь ночевали в маленькой деревушке.

Двенадцать человек офицеров полка теснились в одной холуле. Разбитые усталю, голодные, легли спать. Около полночи приехала полевая кухня. Хорунжий Чубов принес котелок щей, жирный их аромат разбудил офицеров, и через четверть часа опухшие со сна офицеры ели жадно, без разговоров, наверстывали за два потерянных в боях дня. После позднего обеда исчез сон. Офицеры, отягощенные едой, лежали на бурках, на соломе, курили.

Под'есаул Калмыков, маленький круглый офицер, с лицом монгольского типа, говорил, резко жестикулируя руками.

— Эта война не для меня. Я опоздал родиться столетия на четыре. Знаешь, Петр, — говорил он, обращаясь к сотнику Терсинцеву, (произнося слово Петр с подчеркнутым «е» вместо «é»), — я не доживу до конца этой войны.

— Брось хиромантию, — басовито хрипнул тот из-под бурки.

— Никакой хиромантии. Это конец predetermined. У меня атавизм, и я... ей-богу, тут лишний. Когда мы сегодня шли под огнем я дрожал от бешенства, — не выношу, когда не вижу противника. Это гадкое чувство равносильно страху. Тебя разят на расстоянии нескольких верст, а ты едешь на коне, как дудак¹⁾ по степи под охотничьим прицелом.

— Я смотрел в купалке австрийскую гаубицу, — кто из вас видел, господа? — спросил есаул Атаманчуков, слизывая с рыжих подстриженных по-английски усов крошки мясных консервов.

— Замечательно! Прицельная камера, весь механизм верх совершенства! — восторженно заметил хорунжий Чубов, успевший опорожнить второй котелок щей.

— Я видел, но о своих впечатлениях умалчиваю. Профан в артиллерии. По-моему, пушка — как пушка, зевластая.

— Завидую тем, которые в свое время воевали первобытным способом, — продолжал Калмыков, теперь уже обращаясь к Листницкому. — Врубиться в противника и шашкой разделить человека на две четвертых, — вот это я понимаю, а то чорт знает что!

— В будущих войнах роль кавалерии сведется к нулю.

— Вернее, ее самой не будет существовать.

— Ну, это-то положим!

— Вне всякого сомненья.

— Слушай, Терсинцев, нельзя же человека замснить машиной. Это крайность.

— Я не про человека говорю, а про лошадь. Мотоцикл или автомобиль ее заменят.

— Воображаю, автомобильный эскадрон.

— Глупость! — загорячился Калмыков, — конь еще послужит армиям. Абсурдная фантазия. Что будет через 200—300 лет, мы не знаем, а сейчас, во всяком случае, конница...

— Что ты будешь делать, Дмитрий Донской, когда траншеи опояшут фронт? А? Ну-ка, отвечай?

— Прорыв, налет, рейд в глубокий тыл противника, — вот работа кавалерии.

— Ерунда!

— Ну, там посмотрим, господа.

— Давайте спать.

— Слушайте, оставьте споры, пора и честь знать, ведь остальные спать хотят.

1) Дудак — дрофа.

Возгоревшийся спор угасал. Кто-то под буркой храпел и высвистывал. Листницкий, не принимавший участия в разговоре, лежал на спине, вдыхая пряный запах постеленной ржаной соломы. Калмыков, крестясь, лег с ним рядом.

— Вы поговорите, сотник, с вольноопределяющимся Бунчуком. Он в вашем взводе, интересный парень.

— Чем? — спросил Листницкий, поворачиваясь к Калмыкову спиной.

— Обрусевший казак. Жил в Москве. Простой рабочий, но натасканный по этим разным вопросам. Бедовый человек и превосходный пулеметчик.

— Давайте спать, — предложил Листницкий.

— Пожалуй, — думая о чем-то своем, согласился Калмыков и, шевеля пальцами ног, виновато поморщился.

— Вы, сотник, извините, — это у меня от ног такой запах... Знаете ли, гремя неделю не разуваюсь, коврики истлели от пота... Такая мерзость, знаете. Надо у казаков портянки добыть.

— Пожалуйста, — окунаясь в сон, промямлил Листницкий.

Листницкий забыл о разговоре с Калмыковым, но на другой день глущай столкнул его с вольноопределяющимся Бунчуком. На рассвете командир сотни приказал ему выехать в рекогносцировку и, если представится возможным, связаться с пехотным полком, продолжавшим наступление на левом фланге. Листницкий, в рассветной полутьме блуждая по двору, усыпанному спавшими казаками, разыскал взводного урядника.

— Наряди со мной пять человек казаков в раз'езд. Скажи, чтоб приготовил мне коня. Побыстрее!

Через пять минут к порогу халупы подошел невысокий казак.

— Ваше благородие, — обратился он к сотнику, насыпавшему в портсигар папиросы, — урядник не назначает меня в раз'езд, потому что не моя очередь. Разрешите вы мне поехать?

— Выслуживаешься? Чем проштрафился? — спросил сотник, сясь разглядеть в серенькой темноте лицо казака.

— Я ничем не проштрафился.

— Что ж, поезжай, — решил Листницкий и встал.

— Эй, ты! — крикнул он вслед уходившему казаку, — вернись!

Тот подошел.

— Скажи уряднику...

— Моя фамилия Бунчук, — перебил его казак.

— Вольноопределяющийся?

— Так точно.

— Скажите уряднику, — овладевая минутным смущением поправился Листницкий, — чтобы он... ну, да ладно, идите, я сам скажу.

Темнота поредела. Раз'езд выехал за дереvушку и, минуя посты и сторожевое охранение, взял направление на отмеченную на карте деревню.

От'ехав с полверсты, сотник перевел лошадь на шаг, окликнул:

— Вольноопределяющийся Бунчук.

— Я.

— Потрудитесь под'ехать.

Бунчук поправлял своего незавидного коня с чистокровным донцом сотника.

— Вы какой станицы? — спросил Листницкий, разглядывая профиль вольноопределяющегося.

— Новочеркасской.

— Можно узнать причину, понудившую вас итти вольноопределяющимся?

— Пожалуйста, — протяжно и чуть насмешливо ответил Бунчук и поглядел на сотника жесткими зеленоватыми глазами. Неморгающий взгляд их был тверд, неломок. — Меня интересует военное искусство. Хочу постигнуть.

— Для этого есть военные школы.

— Да, есть.

— В чем же дело?

— Сначала хочу на практике пробовать. Теория приложится.

— Ваша профессия до войны?

— Рабочий.

— Где вы работали?

— В Петербурге, Ростове-на-Дону, в Туле на оружейном. Я хочу просить о переводе меня в пулеметную команду.

— Вы знакомы с пулеметом?

— Знаю системы: Шоша, Бертъе, Мадсена, Максима, Гочкиса, Бергмана, Виккерса, Льюиса, Шварцлозе.

— Ого! Я поговорю с командиром полка.

— Пожалуйста.

Сотник еще раз оглядел невысокую плотную фигуру Бунчука. Напоминал он обдонское дерево карич: ничего особенного, бросающегося в глаза в нем не было, ни одна черта не отличалась яркостью, — все было обычно, буднично, лишь твердо загнутые челюсти да глаза, ломающие встречный взгляд, выделяли его из гущи остальных лиц. Улыбался он редко, излучинами губ, но глаза от улыбки не смягчели, неприступно сохраняя неяркий свой блеск. И весь он был скуп на

краски, холодно-сдержан — карич, крутое железной твердости дерево, выросшее на серой супеси неприветливой обдонской земли...

Некоторое время они ехали молча. Широкие ладони Бунчука лежали на облупленной зеленой луке седла. Листницкий достал папироску и, прикуривая от спички Бунчука, почувствовал от руки его сладкий смолистый запах конского пота. Коричневые волосы на тыловой стороне ладони Бунчука лежали густо, как лошадиная шерсть. Листницкому невольно хотелось погладить их. Глотая терпкий дым, он проговорил:

— От этого леса вы и еще один казак поедете по тому проселку влево. Видите?

— Да.

— Если на расстоянии полверсты не нападете на нашу пехоту — вернетесь.

— Слушаю-с.

Они поехали рысью. Подруженыки-березки стояли на отшибе у леска тесной кучей. За ними томила глаз нерадостная прожелтень низкорослой сосны, курчавилось редкое мелколесье, кустарник, помятый скакавшими через него австрийскими обозами. Вправе издалека давил землю артиллерийский гром. Здесь же, у березок, было несказанно тихо. Земля питала богатую росу, розовели травы. — все ярко-цветные, наливные, в предосеннем, кричащем о скорой смерти, цвету. Листницкий остановился возле березок, рассматривая в бинокль взгорье, сугорбившееся за лесом. К нему на медную головку шашки села пчела, расправляя крылышки.

— Глупая, — сожалеюще и тихо сказал Бунчук, осуждая пчелиный промах.

— Что? — оторвался от бинокля Листницкий.

Бунчук глазами указал ему на пчелу, и Листницкий улыбнулся.

— Горек будет ее мед, как вы думаете? — ответил ему Бунчук.

Откуда-то из-за дальней купы сосен пулемет взлохматил тишину пронзительным сорочиным чечеканьем, разбрызг воющих пуль пронизал березки, на гриву сотникова коня, кружась и колеблясь, упала ссеченная пульей ветка.

Они скакали к деревушке, понукая лошадей криками и плетями. Вслед им без единой передышки кончал австрийский пулемет ленту.

После Листницкому неоднократно приходилось встречаться с вольноопределяющимся Бунчуком, и всегда он поражался той непреклонной воле, которая светлела в жестких его глазах; дивился и не мог разгадать, что хранилось за скрытностью, висевшей тучевой тенью на лице такого простого с виду, неприглядного человека. Бунчук и говорил как-то недосказанно, с улыбкой, зажатой в твердом угле губ, будто

шел, обходя правду, одному ему известную, по кривой извилистой стежке. Его перевели в пулеметную команду. Недели через полторы (полк стал на суточный отдых) Листницкий по дороге к командиру сотни догнал Бунчука. Он шел над стеной сожженного сарая, игриво помахивая кистью левой руки.

— А-а, вольноопределяющийся!

Бунчук повернул голову и, козыряя, посторонился.

— Куда вы идете? — спросил Листницкий.

— К начальнику команды.

— Нам по пути, кажется?

— Кажется — да.

Они шли по улице разрушенной деревни некоторое время молча. В дворах, около редких уцелевших столбов, сутились люди, проезжали верховые, прямо посреди улицы дымилась полевая кухня с длинным хвостом дожидавшихся в очереди казаков; сверху точилась проморзглая мелкая сырость.

— Ну как, изучаете войну? — косо глянув на шагавшего чуть сзади Бунчука, спросил Листницкий.

— Да... пожалуй, изучаю.

— Что вы думаете делать после войны? — почему-то спросил Листницкий, глядя на руки вольноопределяющегося, покрытые черной лошадиной шерстью.

— Кто-то посеянное будет собирать, а я... погляжу... — сощурил Бунчук глаза.

— Как вас понять?

— Знаете, сотник, — еще пронзительней сощурился тот, — поговорку: «сеющий ветер пожнет бурю»? Так вот.

— А вы бы без аллегорий, яснее.

— И так ясно. Прощайте, сотник, мне налево.

Бунчук приложил волосатые пальцы к козырьку казачьей фуражки и свернул влево.

Пожимая плечами, Листницкий долго провожал его взглядом.

«Что он — оригинальничает или просто человек с чужинкой?» — раздраженно думал он, шагая в опрятную землянку командира сотни.

XVI

Вместе со второй очередью ушла и третья. Станицы, хутора на Дону обезлюдили, будто на покос, на страду вышла вся Донщина.

На границах горькая разгоралась в тот год страда: лапала смерть работников, и не одна уж простоволосая казачка отпрощалась, отголосила по мертвому: «И родимый ты мо-о-о-ой!... И на ково ж ты меня покидаешь?!»

Ложились родимые головами на все четыре стороны, лили рудую казачью кровь и, мертвоглазые, беспробудные, истлевали под артиллерийскую панихиду в Австрии, в Польше, Пруссии... Знать, не доносил восточный ветер до них плача жен и матерей.

Цвет казачий покинул курени и гиб там в смерти, во вшах, в ужасе...

В погожий сентябрьский день летала над хутором Татарским молочно-радужная паутина, тонкая такая, хлопчатая. По вдвоему усмехалось обескровленное солнце, строгая девственная синева неба была отталкивающе чиста, горделива. За Доном, тронутый желтизной, горюнился лес, блекло отсвечивал тополь, дуб ронял редкие узорчато-резные листья, — лишь ольха крикливо зеленела, радовала живучестью своей стремительный сорочий глаз.

В этот день Пантелей Прокофьевич Мелехов получил письмо из действующей армии. Письмо принесла с почты Дуняшка. Почтмейстер, вручая его ей, кланялся, тряс плечиной, униженно разводил руками:

— Вы, ради бога, простите меня, письмо-то я распечатал. Так и скажите папаше, мол, Фирс Сидорович письмо, так и так, мол, вскрыл. Очень, мол, ему было интересно про войну узнать, как там и что... Уж вы простите и папаше, Пантелею Прокофьевичу, так и доложите.

Против обыкновения он был растерян и вышел проводить Дуняшку, не замечая того, что нос его до половины измазан чернилами.

— Уж вы там того... не взыщите, упаси бог... я ведь по знакомству...

Еще что-то нескладное молот он вслед Дуняшке, кланялся, и в этом почуяла она предостерегающее, как толчок.

Домой вернулась взволнованная, долго не могла достать из-за пазухи письма.

— Скорей, ты... — прикрикнул Пантелей Прокофьевич, глядя дрожащую бороду.

Дуняшка, доставая конверт, торопливо говорила:

— Почтмейстер сказал, што прочитал письмо из антресу и штоб вы, батя, на него не обижались.

— Чорт с ним. От Гришки? — напряженно спросил старик, дыша с сапом в лицо Дуняшке, — от Григория, никак? От Петра, што ли?

— Батяня, нет... рука чужая на письме.

— Читай ты, не томи! — закричала Ильинишна, тяжело подкатываясь к лавке (у нее пухли ноги, и ходила она редко их переставляя, ровно на колесиках катилась), запыхавшись прибежала с надворья Наталья, стала у печи, сдавив локтями грудь, скособочив изуродованную шрамом шею. На губах ее трепетно, солнечным зайчиком дрожала

улыбка,— она ждала поклон от Гриши и хоть легкое, хоть вскользь напоминание о ней, в награду за ее собачью привязанность, за верность.

— Дарья-то где? — шепнула старуха.

— Цыцьте! — зыкнул Пантелей Прокофьевич (бешенство округлило ему глаза), и к Дуняшке: — читай!

— «Уведомляю вас»,— начала Дуняшка и, сползая с лавки, дрожа, крикнула дурным голосом:

— Батя! Батюнюшка!.. Ой, ма-а-а-ама!.. Гриша наш... Ох! ох! Гришу — убили...

Путаясь в листьях чахлой герани билась на окне полосатая оса, жужжала.

На дворе мирно квохтала курица, через распахнутую дверь слышался далекий, детский, бубенчиковый смех.

На лице Натальи комкалась судорога, а углы губ еще не успели стереть недавней трепетной улыбки.

Поднимаясь, паралично дергая головой, с иступленным недоумением смотрел на ползавшую в корчах Дуняшку Пантелей Прокофьевич.

«Уведомляю Вас, что сын ваш, казак 12-го казачьего полка, Григорий Пантелеевич Мелехов в ночь на 17 августа с. г. убит в бою под городом Каменка-Струмилово. Сын ваш пал смертью храбрых, — пусть это послужит вам утешением в невознагражденной потере. Оставшееся имущество будет передано родному брату его Петру Мелехову. Конь остался при полке.

Командир четвертой роты
подесаул Полковников.

Действующая армия.
19 августа 1914 г.»

После получения известия о смерти Григория Пантелей Прокофьевич опустился как-то сразу. Он старел день ото дня, на глазах у ближних. Тяжелая развязка его настигала неотвратимо. Слабла память и мутился рассудок. Он ходил по куреню сутулый, чугунно-почерневший, горячечный масляный блеск глаз выдавал его душевную сумятицу.

Письмо от командира сотни сам он положил под божницу и несколько раз за день выходил в сенцы, манил Дуняшку пальцем.

— Выдь-ка ко мне.

Та выходила.

— Принеси письмо об Григорию. Читай,—приказывал он, опасливо поглядывая на дверь горницы, за которой томилась в неумолчной тоске Ильинишна.

— Ты потише читай, вроде, как про себя,— хитро подмигивал он, весь корежась, указывая глазами на дверь. — Потише читай, а то мать... беда...

Дунышка, глотая слезы, прочитывала первую фразу, и Пантелей Прокофьевич, обычно сидевший на корточках, поднимал сторчмя широкую, что лошадиное копыто, черную ладонь:

— Стой! Дальше — знаю... Отнеси, положи под божничку... Ты по-тише, а то мать наша... — и опять он отвратительно подмигивал, и весь кривился, как древесная кора, сжираемая огнем.

Седел он круговинами, быстро, ослепительно белая седина испятила голову и нитями разметалась в бороде. Он стал прожорлив, ел много и неряшливо.

На девятый день после панихиды пригласили попа Виссариона и родных на поминки по убиенном воине Григорие.

Пантелей Прокофьевич ел быстро и жадно, на бороде его звеньями лежала лапша. Ильинишна, со страхом приглядывавшаяся к нему в эти последние дни, заплакала.

— Отец! Штой-то ты...

— А? Чего? — засуетился старик, поднимая от обливной чашки мутные глаза.

Ильинишна махнула рукой и отвернулась, комкая у глаз расширенный утиральник.

— Едите вы, батенка, будто три дня не евши! — со злобой сказала Дарья и блеснула глазами.

— Ем? А ну так... так — так... я не буду... — смутился Пантелей Прокофьевич. Он растерянно оглядел сидевших за столом и, пожевав губами, замолк, на вопросы не отвечал, хмурился.

— Мужайся, Прокофич! Чтой-то ты так уж отчаялся, — после поминок бодрил его поп Виссарион.

— Смерть его святая, не гневи бога, старик. Сын за царя и отечество терновый венец принял, а ты... грех, Пантелей Прокофич, грех тебе... Бог не простит!

— Я и то, багюшка... я и то мужаюсь. Смертью храбрых убитый, командир-то пишет.

Поцеловав руку священника, старик припал к дверному косяку и в первый раз за все время после известия о смерти сына заплакал, бурно содрогаясь.

С этого дня переломил себя и от удара духовно оправился.

Каждый по-своему зализывал рану.

Наталья, услышав от Дунышки о смерти Григория, выбежала на баз. «Руки наложу! Все теперь мне! Скорей!» — Она билась в руках у Дарьи и с радостным облегчением принимала беспамятство, лишь бы отдалить тот момент, когда вернется сознание и властно напомнит о случившемся. Неделю провела в дурном забытьи и вернулась в мир

реального иная, притихшая, изглоданная черной немочью... Незримый покойник ютился в мелеховском курене.

XVII

Мелеховы на двенадцатый день после известия о смерти Григория получили от Петра два письма сразу. Дуняшка еще на почте прочитала их,— и то неслась к дому, как белка, захваченная вихрем, то, качаясь, прислонялась к плетням. Немалого переполоху наделала она по хутору и неопишное волнение внесла в дом.

— Живой Гриша!.. Живой наш родненький!.. — рыдающим голосом вопила она еще издали. — Петро пишет!.. Раненый Гриша, а не убитый!.. Живой, живой!..

«Здравствуйте, дорогие родители, — писал Петро в письме, помеченном датой от 27 августа, — сообщаю вам, что наш Гришка чудок не отдал богу душу, а сейчас, слава богу, находится живой и здоровый, чего и вам мы желаем от господ бога, — здравия и благополучия. Под городом Каменка-Струмиловым был ихний полк в бою, и в атаке видали казаки из его взвода, что срубил его палашом венгерский гусар, и Григорий упал с коня, а дальше ничего не было нам известно, и, как я не пытал у них, ничего не могли они рассказать. После уж узнал я от Мишки Кошевого, — приезжал Мишка в наш полк для связи, — что пролежал Григорий до ночи, а ночью очухался и пополз. И пополз он, по звездам дорогу означая, и напал на раненого нашего офицера. Был этот офицер раненый, подполковник Драгуновского полка, снарядом в живот и в ноги. Григорий взял его и тянул волоком на себе шесть верст. А за это вышла ему награда: Георгиевский крест и в младшие урядники произвели Гришку.

Вот как! Ранение у Григория пустяковое, скобленул его неприятель палашом в голову, кожу стесал, а упал он с коня и омороком его вдарило. Зараз он в строю, говорил Мишка. Вы извиняйте, что так написано. Пишу на седле и дюже качает».

В следующем письме просил Петро прислать ему сушеной вишни с «родимых донских своих садов» и просил не забывать — писать чаще, там же ругал он Григория за то, что, по словам казаков, плохо Гришка присматривает за конем, а ему, Петру, обидно, так как конь гнейды его, Петра, собственный и кровный; просил отца от себя написать Григорию.

«Я ему доводил до ума через казаков, что если он не будет ухаживать за конем, как за своим добром, то встренемся, и я ему морду в кровь побую, хотя он и крестовый кавалер теперь», — писал Петро. Затем следовали бесчисленные поклоны. Сквозь мятые, подмоченные

дождем строки письма ощутимо дышала горькая грусть. Не сладко, видно, и Петру вливалась служба.

Жалко было глядеть на Пантелея Прокофьевича, ошпаренного радостью: он, сграбастав оба письма, ходил с ними по хутору, ловил грамотных и заставлял читать, — нет, не для себя, а радостью поздней хвастал старик перед всем хутором.

— Ага! Вишь, как Гришка-то мой? А? — поднимал он сторчмя копытистую ладонь, когда читающий, спотыкаясь, по-складам, доходил до того места, где Петро описывал подвиг Григория, на себе протацившего шесть верст раненого подполковника.

— Первый крест изо всего хутора имеет, — гордился старик и, ревниво обтирая письма, хоронил их в подкладку мятой фуражки, шел дальше в поисках другого грамотного.

Сам Сергей Платонович, увидя его из окошка лавки, вышел, снимая картуз.

— Зайди-ка, Прокофьевич.

Он жал старику руку своей мясистой белой рукой, говорил:

— Ну, поздравляю, поздравляю... Кх...! Таким сыном гордиться надо, а вы его отпоминали. Читал про его подвиг в газетах.

— И в газетах прописано? — давился Пантелей Прокофьевич сухой спазмой.

— Есть сообщение, читал, читал.

Сергей Платонович сам достал с полки три четверки лучшего турецкого табаку, не вешая насыпал в кулек дорогих конфет и, передавая все это Пантелею Прокофьевичу, сказал:

— Будешь Григорию Пантелеевичу посылать посылку, перешли от меня поклон и вот это.

— Бож-ж-же мой! Честь-то Гришке какая!.. Весь хутор об нем гутарит... Дожил я... — шептал старик, сходя со ступенек моховского магазина.

Он высморкался, рукавом чекменька раздавил щекотавшую щеку слезу, подумал: «Старею, видно. Слабый на слезу стал... Эх, Пантелей, Пантелей, куда жизнь размытарил-то? Кремнем раньше был, с баржи мешки по восьми пудов таскал, а теперя? Подкосил меня Гришка трошки...»

Он хромал по улице, прижимая к груди кулек с конфетами, и опять мысль его, как чибис над болотом, вилась вокруг Григория, набродили на память слова из петрова письма. Тут-то и повстречался ему сват Коршунов. Он первый окликнул Пантелея Прокофьевича.

— Эй, сват, стой-ка!

Они не виделись со дня объявления войны. С тех пор, как ушел Григорий из дома, установились меж ними отношения не то что вра-

ждебные, а холодно-натянутые. Мирон Григорьевич злился на Наталью за то, что унижается перед Григорием, ждет от него милостыни и его, Мирона Григорьевича, заставляет переживать подобное же унижение.

«Сука поблудная, — в семейном кругу ругал он Наталью, — жила бы дома у отца, а то, ишь, пошла к свекрам, слаже ей хлеб там. Через нее, дуру, и отцу приходится страму принимать, перед людьми глазами моргать».

Мирон Григорьевич подошел к свату вплотную и сунул конопатую руку, сопнутую лодочкой.

— Здорово живешь, сваток!

— Слава богу, сват.

— Ты, никак, с покупкой?

Пантелей Прокофьевич, топыря правую свободную руку, отрицательно махнул головой.

— Это, сват, гирою нашему подарки. Сергей Платоныч, благодетель, про ево гирою вычитал в газетах и дарит ему конфетов и легкова табаку. «Пошли, — грить, — своему гирою от меня поклон и подарки, пушай он и в будущие времена так же отличается». Ажник слеза его прошибла, понимаешь, сват? — безудержно хвастался Пантелей Прокофьевич и пристально глядел в лицо свата, стараясь угадать произведенное впечатление.

Под белесыми веками свата копились световые тени, они-то и делали его опущенный взгляд насмешливо улыбающимся.

— Та-а-ак! — крикнул Коршунов и направился через улицу к плетню.

Пантелей Прокофьевич поспешал за ним, разворачивая кулек пальцами, об'ятами злобной дрожью.

— Вот скушай конфетку, медовая... — ехидно потчевал он свата, — кушай, пожалуйста, от зятя угощаю... Жизнь твоя несладкая, может заешь, а сын-то ни то заслужит такую честь, ни то нет...

— Ты мою жизнь не трожь. Я сам об ней знаю.

— Отпробуй, сделай честь! — с преувеличенной радушностью кланялся Пантелей Прокофьевич, забегая вперед свата. Скрюченные пальцы его свежевали конфету, обдирая серебристую тонкую обертку.

— Мы к сладкому непривычные, — отводил Мирон Григорьевич руку свата, — непривычные мы, зубы у нас от чужих гостинцев крошутся. А тебе, сват, не пристало милостыню на сына собирать ходить. Нужда есть, — ко мне пришел бы. Зятю уж я дал бы... Наташка-то ваш ить хлеб исть... Можно дать на бедность твою.

— Милостыню в нашем роду ишо никто не собирал, не бреши, сват, дубовым языком. Хвальбы у тебя много, сват... Дюже много!.. Может через то, што богато живешь, и дочь к нам ушла?

— Погоди! — властно кинул Мирон Григорьевич. — Не для ругани я тебя затронул. Я не ругаться пришел, усмиришь, сват. Пойдем потолкуем, дело есть.

— Не об чем нам толковать.

— Значит есть об чем. Пойдем!

Мирон Григорьевич схватил свата за рукав чекменя и свернул в проулок. Минувя дворы, они вышли в степь.

— Об чем дело? — спросил Пантелей Прокофьевич, трезвея от схлынувшей злобы.

Он косо поглядел на белесое, веснушчатое лицо Коршунова. Тот, подвернув полы длинного сюртука, сел на насыпь канавы, достал старенький с бахромчатыми краями кисет.

— Вот видишь, Прокофич, ты нивесть с чего наскочил на меня, как драчливый кочет, а так по свойски-то нехорошо! Нехорошо как будто, а? Я хочу узнать, — начал он уже иным, твердым, грубоватым тоном, — долго, аль нет твой сын будет измываться над Натальей? Ты мне скажи.

— Об этом у нево пытай.

— Мне нечево у нево пытать, ты своему куреню голова, — с тобой я и разговор имею.

Пантелей Прокофьевич давил в горсти очищенную конфету. Шоколадная вязкая жижа ползла у него меж пальцев. Он вытер ладонь о коричневую крошкую глину насыпи и молча стал закуривать. Свернул бумажку, всыпал из четверки щепоть турецкого табаку и протянул пачку свату. Мирон Григорьевич не колеблясь взял, тоже свернул цыгарку за счет щедротного моховского подарка. Закурили. Над ними белопенной, пышной грудью висело облако, и к нему, в немыслимую высоту стремилась от земли нежнейшая, волнуемая ветром нитка паутины.

День стекал к исходу. Мирная, неописуемо-сладкая баюкалась сентябрьская тишь. Небо, уже утратившее свой летний полновесный блеск, тускло голубело. Над канавой сорили пышный багрянец бог весть откуда занесенные листья яблони. За волнистой хребтиной горы скрывалась резветвленная дорога. Тщетно она манила людей шагать туда, за изумрудную, неясную, как сон, нитку горизонта, в неизведанные пространства, — люди, прикованные к жишью, к будням своим, изнывали в работе, рвали на молотье силы, и дорога — безлюдный тоскующий след — текла, перерезая горизонт, в невидь. По ней, пороша ее пылью, с бестолковой изящностью топтался ветер.

— Слабый табак, как трава, — выпуская нетающее облачко дыма, сказал Мирон Григорьевич.

— Слабоват, а... приятный, — согласился Пантелей Прокофьевич.

— Отвечай мне, сват, — расслабленным голосом попросил Коршунов и затушил цыгарку.

— Григорий об этом ничево не пишет. Он зараз раненый.

— Слыхал я...

— Што дальше будет — не знаю. Может быть, и взаправду убьют. Это как?

— Как же так, сват... — растерянно и жалко заморгал Мирон Григорьевич, — живет она ни девка, ни баба, ни честная вдова, ить это страмно так-то! Знатые б, што оно такое случится, — я б вас, сватов этих, и на порог не пустил, а то как же так?.. Эх, сват, сват... Кажному свово дитя жалко... Кровь-то — она показывает...

— Чем я пособлю? — с сдержанным бешенством начал наступление Пантелей Прокофьевич. — Ты мне скажи толком. Я-то аль рад тому, што сын с базу ушел? Мне-то аль от этого прибыло? Ить вот какие народи!

— Ты ему напиши, — глухо диктовал Мирон Григорьевич, и в такт его словам шуршала глина, стекая из-под ладони в канаву коричневыми грушевыми ручейками, — пушай он раз навсегда скажет.

— Дите у нево от энтой...

— И от этой будет дите! — крикнул, багровея, Коршунов. — Рази можно так над живым человеком, а?.. Раз смерти себя придавала и теперь калека... и ее топтать в могилу, а?... Сердце-то, сердце-то... — зашипел Мирон Григорьевич, одной рукой царапая себе грудь, другой притягивая свата за полу, — аль у нево волчиное?

Пантелей Прокофьевич сопел и отворачивался в сторону.

— ... Баба высохла по нем, и иной окромя нету ей жизни. Живет же у тебя в холопках?

— Она нам лучше родной! Замолчи ты! — крикнул Пантелей Прокофьевич и встал.

Разошлись они в разные стороны, не прощаясь.

XVIII

Выметываясь из русла, разбивается жизнь на множество рукавов, — трудно предопределить, по какому устремит она свой вероломный и лукавый ход. Там, где нынче мельчает жизнь, как речка на перекате, завтра идет она полноводная, богатая.

Как-то внезапно созрело у Натальи решение сходить в Ягодное к Аксиныне вымолить, упросить ее вернуть Григория. Ей почему-то казалось, что от Аксины зависит все, и упросит она ее, — снова вернуться Григорий и былое счастье. Она не задумывалась над тем, осуществимо

ли это и как примет Аксинья ее странную просьбу. Толкаемая подсознательным чувством, она стремилась скорей претворить внезапное свое решение в жизнь. На исходе месяца Мелеховы получили от Григория письмо. После поклонов отцу и матери он слал поклон и низжайшее почтение Наталье Мироновне; какая неизвестная причина побудила его за это, — неизвестно, но для Натальи это было толчком: в первое же воскресенье она собралась итти в Ягодное.

— Куда ты, Наташа? — спросила Дуняшка, глядя как Наталья перед осколком зеркала внимательно и строго рассматривает свое лицо.

— Своих пойду проведу, — солгала та и покраснела, впервые поняв, что идет на великое унижение, на большую нравственную пытку.

— Ты, Наталья, хоть сроду раз бы со мной на игрища пошла, — охорашиваясь попросила Дарья. — Пойдешь, што ли, вечером?

— Не знаю, навряд.

— Эх, ты, черничка, только и нашево, пока мужьев нету! — озорничала, подмигивая, Дарья и, гибкая, переламываясь надвое, рассматривала перед зеркалом расшивной подол новой бледно-голубой юбки.

Со времени отъезда Петра, Дарья резко изменилась: отсутствие мужа заметно отзывалось на ней. Некое беспокойство сквозило в ее глазах, движениях, походке. Она тщательней наряжалась по воскресеньям, с игрищ приходила поздно, злая; жаловалась Наталье.

— Беда, ей-богу!.. Забрали казаков подходящих, остались в хуторе одни ребята да старики.

— Тебе-то чево?

— Как так чево? — удивилась та. — На игрищах не с кем и побаловаться. — Хучь бы на мельницу припало одной ехать, а то с свекром дюже не разойдешься...

Она с циничной откровенностью расспрашивала Наталью:

— Как же ты, милушка, без казака так долго терпишь?

— Будет тебе, бессовестная! — обливалась Наталья густым румянцем.

— И не хочется тебе?

— А тебе, видно, хочется?

— Хочется, бабонька! — хохотала Дарья, розовея и дрожа крутыми дугами бровей. — Чево уж греха таить!.. Я б сейчас и старика какова-нибудь раскачала, ей-богу. Ты вздумай, ить два месяца, как Петра нету.

— Ты, Дарья, беды наживешь...

— Будя тебе, почетная старушка! Знаем мы таких тихонюшек!.. Ты, небось, не признаешься.

— Мне и признаваться не в чем.

Дарья смешливо косилась на нее и, кусая губы мелкими злыми зубами, рассказывала:

— Надьсь на игрицах подсел ко мне Тимошка Маныцков, атаманов сынок. Сидит потный весь, вижу: боится начинать... Потом руку мне потихоньку подмышку провздел, а рука дрожит. Я притерпелась, молчу, а самую злость берет, хучь бы парень-то был, а то так... сопля. Ему годов шестнадцать, не больше, видишь каких забирает... Молчу, сижу, он лапал, лапал и шепчет: «пойдем к нам на гумно?»... Эх, как я ево!..

Дарья весело хохотала, на лице ее трепетали брови, брызжущий смех лучили прищуренные глаза.

— Уж я ево и выбанила. Как вскочу: «Ах, ты такой-сякой! Щенчишка желторотый! Да ты можешь мне такое вякать? Ты давно перестал по ночам под себя мочиться?» Уж я ему, узду ево мать, и прочитала!

С Натальей у них установились отношения простые и дружественные, та неприязнь, которую вначале питала Дарья к младшей снохе, стерлась, и бабы, разные по характерам, во всем непохожие одна на другую, сошлись, жили ладно.

Наталья оделась и пошла из горницы.

В сенцах ее догнала Дарья.

— Ты мне отопрешь нынче дверь?

— Я дома у своих, должно, заночую.

Дарья, раздумывая, почесала гребешком переносицу и трянула головой.

— Ну, иди. Не хотела Дуняшку об этом просить, видно придется.

Наталья сказала Ильиничне о том, что идет к своим, и вышла на улицу. От площади ехали подводы с базара, шли из церкви люди. Наталья прошла два переулка и свернула влево. На гору поднималась спеша. На перевале оглянулась назад: под ней лежал залитый солнечным полководьем хутор, белели выбеленные домижки; на покатой крыше мельницы, отражаясь, искрились солнечные лучи, расплавленной рудой блесла жезь.

XIX

Война и из Ягодного повыдергала людей. Ушли Вениамин и Тихон, — после них стало еще глуше, тише, скучнее. Вместо Вениамина прислуживала старому генералу Аксинья; толстозадая, не худеющая Лукерья приняла на себя работу черной кухарки и птичницы. Дед Сашка совмещал обязанности конюха с охраной сада, лишь кучер был новый, — степенный, престарелый казак Никитич.

В этом году пан уменьшил посев, поставил на ремонт около двадцати лошадей, остались лишь рысистой породы да тройка донских, об-

служивающих нужды хозяйства. Время коротал пан на охоте с Никитичем; заезжали на дудаков и изредка баламутили округу охотой с борзыми.

От Григория Аксинья не часто получала коротенькие письма, извещавшие о том, что он пока жив-де и здоров, службу ломает. Крепился ли он, или не хотел в письмах выказывать своей слабости, но ни разу не обронил он слово о том, что тяжело ему, скучно. Письма дышали холодком, будто писал он их по принуждению, лишь в последнем письме обмолвился он фразой... Все время в строю и уж как будто и надоело воевать, возить за собой в переметных сумах смерть. В каждом письме он справлялся о дочери, просил писать о ней: «пиши, как моя Танюша растет и какая она собой стала? Недавно видал ее во сне большой и в красном платье».

Аксинья с виду стойко переносила разлуку. Вся любовь ее к Гришке перекинулась на дочь и особенно после того, как убедилась в том, что подлинно от Гришки понесла она ребенка. Доказательства являла жизнь неопровержимые: темнорусые волосы девочки вывалились, новые росли черные и курчавые, меняли цвет и глаза, чернея удлиняясь в разрезе. С каждым днем девочка все разительнее запохаживалась на отца, даже улыбка отсвечивала мелеховским, гришкиным, звероватым. Теперь без сомнения угадывала Аксинья отца ребенка, и от этого прикипала к нему жгучим чувством, не было уж так, как раньше, когда подходила она к люльке и отшатывалась, найдя в сонном личике девочки какой-нибудь намек, беглое сходство с ненавистными линиями степанова лица.

Цедились дни, и после каждого оседала в душе Аксиньи терпкая горечь, тревога за жизнь любимого остреньким буравчиком сверлила мозг, не покидала ее днями, навевалась и ночью, и тогда то, что копилось в душе, взнуданное до времени волей, рвало плотины; ночь, всю дотла, билась Аксинья в немом крике, в слезах, кусая руки, чтобы не разбудить ребенка, утишить крик и нравственную боль убить физической. В пеленки вылакивала излишки слез, думая в детской своей наивности: «Гришкино дите, он сердцем должен почуять, как тоскую об нем».

После таких ночей вставала она, как избитая, ломило все тело, настойчиво, неутомимо стучали в висках серебряные молоточки, в опущенных, когда-то отрочески пухлых углах рта ложилась мужалая горечь... Старили Аксинью горючие ночи.

В воскресенье как-то подала она пану завтрак и вышла на крыльцо; к воротам подошла женщина. Бились под белым платком такие страшно знакомые глаза... Женщина пожала щеколду и вошла во двор. Аксинья побледнела, угадав Наталью, медленно двинулась на-

встречу. Они сошлись на середине двора. На чириках Натальи лежала густая слоенка дорожной пыли. Она остановилась, безжизненно уронив большие рабочие руки, сапно дыша; пыталась и не могла выпрямить изуродованную шею, оттого казалось, что смотрит она куда-то в сторону.

— Я к тебе, Аксинья... — сказала она, облизывая обветренные губы сухим языком.

Аксинья быстро оглядела окна дома и молча пошла в людскую, в свою половину. Наталья шла сзади. Слух ее болезненно царапал шорох аксиньиного платья. «От жары, должно быть, в ушах больно», выцарапалась из вороха мыслей одна.

Дверь, пропустив Наталью, притворила Аксинья. Притворив, стала среди комнаты, сунула руки за белый передник. Игру вела она.

— Ты чево пришла? — вкрадчиво, почти шопотом спросила она.

— Мне бы напиться... — попросила Наталья и обвела комнату тяжелым, негнущимся взглядом.

Аксинья ждала. Наталья заговорила, трудно поднимая голос:

— Ты отбила у меня мужа... Отдай мне Григория! Ты... мне жизнь сломала... Видишь, я какая...

— Мужа тебе? — Аксинья стиснула зубы и слова — дождевая капля на камень — точились скупой, — мужа тебе? У ково ты просишь? Зачем ты пришла?.. Поздно ты надумала выпрашивать... Поздно!

Качнувшись всем телом, Аксинья подошла вплотную, едко засмеялась. Она глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она, законная, брошенная жена, стоит перед ней приниженная, раздавленная горем; та, по милости которой исходила Аксинья слезами, расставаясь с Григорием, несла в сердце кровавую боль, как жесткий самородок — камень. И в то время, когда она, Аксинья, томилась в смертной тоске, вот эта ласкала Григория и, наверное, смеялась над нею, неудачливой, брошенной любовницей.

— И ты пришла просить, штоб я его бросила? — задыхалась Аксинья. — Ах, ты, гадюка подколодная!.. Ты первая отняла у меня Гришку! Ты, а не я!.. Ты знала, што он жил со мной, зачем замуж шла? Я вернула свое, он мой! У меня дите от него, а ты...

Она с бурной ненавистью глядела в глаза Натальи и, беспорядочно взмахивая руками, сыпала перекипевший шлак слов:

— Мой Гришка, и никому не отдам!.. Никому! Никогда!.. Никому, слышишь, ты?! Ступай, сука бессовестная, ты ему не жена. Ты у дитя отца хочешь взять? Ого! Чево ж ты раньше не шла? Ну, чево не шла?

Наталья боком подошла к лавке и села, роняя голову на руки, ладонями закрывая лицо.

— Ты своєю мужа бросила... Не шуми так...

— Кроме Гришки, нету у меня мужа! Никого нету во всем овете!

Аксинья, чувствуя как мечется в ней безысходная злоба, глядела на прядь прямых черных волос, упавшую из-под платка на руку Натальи.

— Ты-то нужна ему? Глянь, шею-то у тебя покривило. И, ты думаешь, он позавидует на тебя? Здоровую бросил, а на калеку позавидует? Не выдай тебе Гришки! Вот мой сказ. Ступай!

Аксинья лютовала, защищая свое гнездо, за все прежнее разила теперь.

Она видела, что Наталья, несмотря на слепка покривленную шею, так же хороша, как и раньше, щеки ее и рот свежи, не измяты временем, а у нее Аксиньи, — не по вине ли этой Натальи, — раньше времени расплелась над глазами паутинка морщин?

— Ты думаешь я надеялась, што выпрошу? — подняла Наталья пьяные от мути глаза.

— Зачем же ты шла? — дыхом спросила Аксинья.

— Тоска меня пихнула.

Разбуженная голосами, проснулась на кровати и заплакала приподнимаясь аксиньина дочь. Мать взяла ребенка на руки, села отвернувшись к окну. Вся содрогаюсь, Наталья глядела на ребенка. Сухая спазма захлснула ей горло. На нее с осмысленным любопытством глядели с лица ребенка глаза Григория.

Она вышла на крыльцо рыдая и качаясь. Провожать ее Аксинья не пошла. Спустя минуту вошел дед Сашка.

— Што это за баба была? — спросил он, видимо, догадываясь

— Так, хуторная одна.

Наталья отошла от имения версты три, прилегла под кустом дикого терна. Лежала ни о чем не думая, раздавленная неизъяснимой тоской. Перед глазами ее неотступно маячили на лице ребенка урюмоватые черные глаза Григория.

XX

Ярко до слепящей боли вспомнилась Григорию та ночь. Он очнулся перед рассветом, повел руками, натываясь на колючее жнивье, и застонал от садной боли, наполнившей голову. С усилием приподнял руку, дотянул ее до лба, щупая черствый, свалывшийся в загустелой крови чуб. Тронул мякотную рану пальцем — будто горячий уголь прислонил. Заскрипел протяжно зубами и лег на спину. Над ним на дереве стеклянным звоном тоскливо шелестели опаленные морозом листья. Черные контуры ветвей отчетливо рисовались на густо-синем

фоне неба, сквозь них светлели звезды. Григорий смотрел не мигая широко открытыми глазами; казалось, что не звезды, а полные голубовато-желтые неведомые плоды висят на черенках листьев.

Осознав случившееся с ним, чувствуя неотвратимо подступающий ужас, он полез на четвереньках, скрипя обнаженными зубами. Боль играла с ним, валяла его навзничь... Ему казалось, что ползет он неизмеримо долго; насилуя себя, оглянулся: шагах в пятидесяти чернело дерево, под которым холодел он в беспомощности. Один раз он перелез через труп убитого, опираясь локтями о ввалившийся жесткий его живот. От потери крови мутила тошнота, и он плакал, как ребенок, грыз пресную в росе траву, чтобы не потерять сознание. Возле опрокинутого зарядного ящика встал, долго стоял раскачиваясь, потом пошел. К нему прибыли силы — шагал тверже и уже в состоянии был угадывать направление на восток: ему путеводила Большая Медведица.

У опушки леса его остановило глухое предупреждение:

— Не подходи, застрелю!

Щелкнул револьверный барабан. Григорий взгляделся по направлению звука: у сосны полулежал человек.

— Ты кто такой? — спросил Григорий, прислушиваясь к собственному голосу, как к чужому.

— Русский? Бог мой!.. Иди! — человек у сосны сполз на землю. Григорий подошел.

— Нагнись.

— Не могу.

— Почему?

— Упаду и не встану, в голову меня скобленуло...

— Ты к'кой части?

— 12-го Донского полка.

— Помоги мне, казак...

— Упаду я, ваше благородие (Григорий разглядел на шинели офицерские погоны).

— Руку хоть дай!

Григорий помог офицеру подняться. Они пошли. Но с каждым шагом все тяжелее обвисал на руке Григория раненый офицер. Поднимаясь из ложижки, он цепко ухватил Григория за рукав гимнастерки, сказал редко клацая зубами.

— Брось меня, казак! У меня ведь... скв'зная рана... в живот.

Под пенсне его тусклее блестели глаза, и хрипло всасывал воздух раскрытый давно небритый рот. Он потерял сознание. Григорий тащил его на себе падая, поднимаясь и вновь падая. Два раза бросал свою ношу и оба раза возвращался, поднимал и брел, как в сонной яви.

В одиннадцать часов утра их подобрала команда связи и доставила на перевязочный пункт.

Через день Григорий тайком ушел с перевязочного пункта. Дорогой сорвал с головы повязку, шагал облегченно помахивая бинтом с бархатно-рдяными пятнами.

— Откуда ты? — несказанно удивился сотенный командир.

— Вернулся в строй, ваше благородие.

Выйдя от сотника, Григорий увидел взводного урядника.

— Конь мой? Гнедой где?

— Он, братуха, целый. Мы поймали его там же, как только проводили австрийцев. Ты-то как? Мы ить тебя царством небесным поминали.

— Поспешили, — усмехнулся Григорий.

«Выписка из приказа».

За спасение жизни командира 9-го драгунского полка подполковника Густава Грозберга казак 12-го Донского казачьего полка Мелехов Григорий производится в приказные и представляется к Георгиевскому кресту четвертой степени».

Сотня, простояв в городе Каменка-Струмилово двое суток, в ночь собиралась к выступлению. Григорий розыскал квартиру казаков своего взвода, пошел проведать коня. В сумках не оказалось пары белья, полотенца.

— На глазах украли, Григорий, — виновато признавался Кошевой Мишка, на попечении которого находился конь. — Пехоты нагнали в этот двор видимо-невидимо — пехота украла.

— Чорт с ними, пушай пользуются. Мне бы вот голову перевязать, бинт промок.

— Возьми мое полотенце.

В сарай, где происходил этот разговор, взшел Чубатый. Он протянул Григорию руку, словно между ними ничего и не было.

— А, Мелехов! Ты живой, стущирь?

— Наполовинку.

— Лоб-то в крови, утрись.

— Утрись, успею.

— Дай гляну, как тебя примолвили.

Чубатый силком нагнул голову Григория, хмыкнул носом.

— На што давался волосья простригать? Ишь с'уродовали как... Доктора тебя выпользуют, до чорта, дай-ка я залечу.

Не спрашивая согласия, он достал из патронташа патрон, вывернул пулю и на черную ладонь высыпал черный порох.

— Добудь, Михайла, паутины.

Кошевой концом шашки достал со сруба хлопчатый ком паутины, подал. Острием этой же шашки Чубатый вырыл комочек земли и смешав его с паутиной и порохом долго жевал. Густой тяжкой массой он плотно замазал кровоточащую рану на голове Григория и улыбнулся.

— Через трое суток сымет, как рукой. Вишь, за тобой уход несут, а ты... было-к застрелил.

— За уход — спасибо, а убил бы тебя — одним грехом на душе меньше стало.

— Какой ты простой, парень.

— Какой уж есть. Што там на голове у меня?

— В четверть зарубка. Это тебе на память.

— Не забуду.

— И хотел бы, да не забудешь: палаши австрийцы не точат, тупым тебя секанул, теперь на всю жисть пухлый рубец будет.

— Счастье твое, Григорий, наосклизь взяло, а то б зарыли в чужой земле, — улыбнулся Кошевой.

— Куда ж я фуражку дену?

Григорий растерянно вертел в руках фуражку с разрубленным окровавленным верхом.

— Киль ее, собаки с'едят.

— Ребята, хлебово принесли, налетай! — крикнули из дверей дома.

Казак вышел из сарая, вслед Григорию, кося вывернутым глазом, заржал Гнедой.

— Он об тебе скучал, Григорий, — Кошевой кивнул на коня. -- Я диву дался; корм не жрет и так это потихоньку игогокает.

— Я как лез оттуда, ево все кликал, — отворачиваясь глухо говорил Григорий, — думал он не уйдет от меня, поймать ево трудно. Не дастся он чужим.

— Верно, мы его насилиу взяли. Арканом накиннули.

— Конь добрый, братов конь, Петра — Григорий отворачивался, прятая растроганные глаза.

Они вошли в дом. В передней комнате на полу, на снятом с кровати пружинном матраце храпел Егор Жарков. Неопысуемый беспорядок молчаливо говорил о том, что хозяйева бросили дом спешно. Осколки битой посуды, изорванные бумаги, книги, залитые медом, клочки суконной материи, детские игрушки, старая обувь, рассыпанная мука, — все это в ужасающем беспорядке валялось на полу, вопило о разгроме.

Расчистив место, здесь же пообедали Грошев Емельян и Прохор Зыков. У Зыкова при виде Григория выкатились телячьи-ласковые глаза.

— Гри-и-шка! Откель ты взялся?

— С тово света.

— Ты ему сбегай принеси щей. Чево глаза на лоб вылупил? — крикнул Чубатый.

— Зараз! Кухня тут вот, в проулке.

Прохор, прожевывая кусок, метнулся во двор.

На его место устало присел Григорий.

— Я уже не помню, когда ел, — улыбнулся он виновато.

По городу двигались части 3-го корпуса. Узкие улицы забивались пехотой, прудились бесчисленными обозами, кавалерийскими частями; на перекрестках спирались заторы, гул движения проникал сквозь закрытые двери. Вскоре явился Прохор с котелком щей и торбой гречневой каши.

— Кашу куда выпорожнить?

— А вот кастрюля с ручкой, — подвинул Грошев от окна ночную посудину, не зная ее назначения.

— Она воняет, кастрюля твоя, — сморщился Прохор.

— Ничево. Вали кулем, — после разберем.

Прохор вывернул над посудинной торбу, густая добротная каша упала комом, по бокам ее янтарной каймой выступило масло. Ели с разговорцем. Слюнявя сальное пятно на своем линялом лампасе, Прохор рассказывал:

— Тут рядом с нашим двором стоит батарея конно-горного дивизиона, маштаков выкармливают. Ферверкер ихний в газете читал, что союзники немцев, што называется, — вдрызг.

— Не захватил ты, Мелехов, утром мы ить благодарность получили, — мурчал Чубатый, двигая набитым кашей ртом.

— От ково?

— Начальник дивизии, генерал-лейтенант фон-Дивид смотр нам делал и благодарность превозносил за то, што венгерских гусар сбили и выручили свою батарею. Ить они пушки за малым не укатили. «Молодцы казаки, — говорит, — царь и отечество про вас не забудут».

— Вот как!

На улице сухо чмокал выстрел, другой, раскатисто брызнула пулеметная дробь.

— Вы-хо-ди-и! — гаркнули у ворот.

Побросав ложки, казаки выскочили на двор. Над ними низко и плавно кружил аэроплан. Мощный рокот его звучал угрожающе.

— Падай под плетни! Бомбы зараз начнет осливать, рядом ить батарея! — крикнул Чубатый,

— Егорку разбудите, убьет его на мягком матрасе!

— Винтовки давай!

Чубатый, тщательно целясь, стрелял прямо с крыльца. По улице бежали, зачем-то пригинаясь, солдаты. В соседнем дворе слышался лошадиный визг и резкая команда. Расстреляв обойму, Григорий глянул через забор: там суетились «номера», закатывая орудия под навес сарая. Жмурясь от колочей синевы неба, Григорий глянул на рокочущую снижающуюся птицу, оттуда в этот миг стремительно сорвалось что-то и резко сверкнуло в полосе солнечного луча. Потрясающий грохот встряхнул домик и припавших к крыльцу казаков; на соседнем дворе предсмертным визгом захлебнулась лошадь. Острый серный запах гари принесло из-за забора.

— Хоронись! — крикнул Чубатый, сбегая с крыльца.

Григорий прыгнул за ним следом, упал под забором. Крыло аэроплана сверкнуло какой-то алюминиевой частью, он поворачивался снижаясь, занося хвост. С улицы стреляли пачками, грохали залпами, сеяли беспорядочной частухой выстрелов. Григорий только-что вложил обойму, как еще более потрясающий взрыв швырнул его на сажень от забора. Глыба земли жмякнула его в голову, заporошив глаза, придавила тяжестью...

Его поднял на ноги Чубатый. Острая боль в левом глазу не давала ему возможности глядеть, с трудом раскрыв правый, увидел: половина дома разрушена, красным уродливым месивом лежали кирпичи, над ними курилась розовая пыль. Из-под исковерканного крыльца на руках полз Егор Жарков. Все лицо его — сплошной крик, по щекам из вывалившихся глаз кровавые слезы. Он полз, вобрав голову в плечи, кричал, не разжимая трупно почерневших губ.

— А-и-и-и!.. А-и-и-и!.. А-и-и-и!..

За ним на тоненьком лоскутке кожи, на опаленной штанине поперек волочилась оторванная у бедра нога, второй не было. Он полз медленно, переставляя руки, тонкий, почти детский стонящий крик сверлился изо рта. Он оборвал крик и лег боком, плотно прижимая лицо к неласковой, сырой, затаженной конским пометом и осколками кирпича земле. К нему никто не подходил.

— Берите ж его — крикнул Григорий, не отрывая ладони от левого глаза.

Во двор набежали пехотинцы, возле ворот остановилась двуколка телефонистов.

— Езжай, что стали? — крикнул на них скакавший мимо офицер. — Эка, звери, хамье!

Откуда-то пришлепал старик в черном длинном сюртуке и две женщины. Толпа окружила Жаркова. Протиснувшись, Григорий увидел, что он еще дышит, всхлипывая и крупно дрожа. На мертвенно пожелтевшем лбу его выступал ядреный зернистый пот.

— Берите. Што ж вы... вашу мать, люди вы али черти?

— Чево лаешься? — отгрызнулся высокий пехотинец. — «Берите, берите»... а куда брать-то? Видишь — доходит.

— Обое ноги оторвало.

— Кровищци-то!..

— Санитары где?

— Какие уж тут санитары...

— А он ишо в памяти.

Чубатый сзади тронул плечо Григория, тот оглянулся.

— Не вороши ево, — сказал он шопотом, — зайди с этой стороны, глянь.

Он перешел на другую сторону, не выпуская из пальцев рукава григорьевой гимнастерки, растолкал ближних. Григорий глянул и сторбившись пошел в ворота. Под животом Жаркова дымилась, отливали нежно-розовым и голубым выпущенные кишки. Конец этого перевитого клуба был вывален в песке и помете, шевелился, увеличиваясь в объеме. Рука умирающего лежала боком, будто спребая...

— Накройте ему лицо, — предложил кто-то.

Жарков вдруг оперся на руки и, закинув голову так, что затылок бился меж скрюченных лопаток, крикнул хрипатым, нечеловеческим голосом:

— Братцы, предайте смерти! Братцы!.. Братцы!. Што ж вы глядите-те-е-е? Аха-ха-а-а-а!.. Братцы, предайте смерти!

XXI

Вагон мягко покачивает, перестук колес убаюкивающе сонлив, от фонаря до половины лавки желтая вязь света. Так хорошо вытянуться во весь рост и лежать разутым, дав волю ногам, две недели парившимся в сапогах, не чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит опасность и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в разнобоистый говор колес, — ведь с каждым оборотом, с каждым рывком паровоза все дальше фронт, и Григорий лежал, вслушиваясь, шевеля пальцами босых ног, всем телом радуясь свежему, только нынче надетому белью. Он испытывал такое ощущение, будто скинул с себя грязную оболочку и входил в иную жизнь незапятнанно чистым.

Тихую умиротворенную радость нарушала боль, звеневшая в левом глазу. Она временами затихала и внезапно возвращалась, жгла глаз

огнем, выжимала под повязкой невольные слезы. В госпитале в Каменке-Струмилово молодой врач-еврей осмотрел Григорию глаз, что-то написал на клочке бумаги.

— Вас придется отправить в тыл. С глазом серьезная неприязность.

— Косой буду?

— Ну, что вы, — ласково улыбнулся доктор, уловив в вопросе неприкрытый испуг, — необходимо лечение; быть может, придется сделать операцию. Мы вас отправим в глубокий тыл, в Петербург, например, или в Москву.

— Спасибочка.

— Вы не трусьте, глаз будет цел, — доктор похлопал Григория по плечу и, сунув в руки клочок бумаги, легонько вытолкнул его в коридор, — он засучивал рукава, готовясь к операции.

После долгих мытарств Григорий попал в санитарный поезд. Сутки лежал, наслаждаясь покоем. Старенький мелкорослый паровозик, напрягаясь из последних сил, тянул многовагонный состав. Близилась Москва. Приехали ночью. Тяжело раненых выносили на носилках; те, кто мог ходить без посторонней помощи, вышли после записи на перрон. Врач, сопровождавший поезд, вызвав по списку Григория и указывая сестре милосердия на него, сказал:

— Глазная лечебница доктора Снегирева. Колпачный переулочек.

— Ваши пожитки с вами? — спросила сестра.

— Какие у казака пожитки? Сумка вот, да шинель.

— Пойдемте.

Она пошла, поправляя под наколкой прическу, шурша платьем. Неуверенно шагая за ней, направился Григорий. Поехали на извозчике. Гул большого засыпающего города, звонки трамваев, голубой переливчатый блеск электричества подействовали на Григория подавляюще. Он сидел, откинувшись на спинку пролетки, жадно осматривая многолюдные, несмотря на ночь, улицы, и так странно было ему испытывать рядом с собой волнующее тепло женского тела. В Москве ощутимо чувствовалась осень: на деревьях бульваров при свете фонарей блеклой желтизной отсвечивали листья, ночь дышала знобкой прохладой, мокро лоснились плиты тротуаров, и звезды на погожем небосклоне были яркие и холодны по-осеннему. Из центра выехали в безлюдный проулок, цокали по камням лошадиные копыта, качался на высоких козлах извозчик, принаряженный в синий, наподобие поповского, армяк, махал на вислоухую клячу концами вожжей. Где-то на окраинах трубили паровозы. «Может, какой в Донщину сейчас пойдет?» — подумал Григорий и поник под частыми уколами тоски.

— Вы не дремлете? — спросила сестра.

— Нет.

— Скоро приедем.

— Что изволите? — повернулся извозчик.

— Погоняй.

За железной тесьмой огорожки масляно блеснули вода пруда и перильчатые мостки с привязанной к ним лодкой. Повеею сыростью. «Воду и то в неволю взяли, за железной решеткой, а Дон...», неясно думал Григорий. Под резиновыми шинами пролетки зашуршали листья. Около трехэтажного дома извозчик остановился. Поправляя шинель Григорий соскочил.

— Дайте мне руку, — нагнулась сестра.

Григорий забрал в ладонь ее мягкую, маленькую ручку, помог сойти.

— Потом солдатским от вас разит, — тихонько засмеялась прифранченная сестра и, подойдя к под'езду, позвонила.

— Вам бы сестрица, там побывать, от вас может и ишо чем-нибудь завоняло, — с тихой злобой сказал Григорий.

Дверь отворил швейцар. По нарядной с золочеными перилами лестнице поднялись на второй этаж; сестра позвонила еще раз. Их впустила женщина в белом халате. Григорий присел у круглого столика, сестра что-то вполголоса говорила женщине в белом, та записывала. Из дверей палат, расположенных по обе стороны длинного неширокого коридора, выглядывали головы в разноцветных очках.

— Снимайте шинель, — предложила женщина в халате.

Служитель, тоже в белом, принял из рук Григория шинель, повел его в ванную.

— Снимайте все с себя.

— Зачем?

— Вымыться надо.

Пока Григорий раздевался и пораженный рассматривал помещение и матовые стекла окон, служитель наполнил ванну водой, смерил температуру, предложил садиться.

— Корыто-то не по мне... — конфузился Григорий, заноса смугло-черную волосатую ногу.

Прислуживающий помог ему тщательно вымыться, подал простыню, белье, ночные туфли и серый с пояском халат.

— А моя одежда? — удивился Григорий.

— Будете ходить в этом. Вашу одежду вернут вам тогда, когда будете выписываться из больницы.

В передней, проходя мимо большого стенового зеркала, Григорий не угадал себя: «высокий, чернолицый, остроскулый, с плитами жаркого румянца на щеках, в халате, с повязкой, в'едавшейся в шапку черных

волос, он отдаленно лишь походил на того прежнего Григория. У него отросли усы, курчавилась пушистая борода. «Помолодел я за это время», — криво усмехнулся Григорий.

— Шестая палата, третья дверь направо, — указал служитель.

Священник в халате и синих очках при входе Григория в большую белую комнату привстал.

— Новый сосед? Очень приятно, не так скучно будет. Я из Зарайска, — общительно заявил он, придвигая Григорию стул.

Спустя несколько минут вошла полная фельдшерица с большим некрасивым лицом.

— Мелехов, пойдемте посмотрим ваш глаз, — сказала она низким прудным голосом и посторонилась, пропуская в коридор Григория.

XXII

На Юго-западном фронте в районе Шавеля командование армии решило грандиозной кавалерийской атакой прорвать фронт противника и кинуть в тыл ему большой кавалерийский отряд, которому надлежало совершить рейд над фронтом, разрушая по пути коммуникационные линии, дезорганизуя части противника внезапными налетами. На успешное осуществление этого плана командование возлагало большие надежды. Небывалое количество конницы было стянуто к указанному району. В числе остальных квалерийских полков был переброшен на этот участок и казачий полк, в котором служил сотник Листницкий. Атака должна была произойти 28 августа, но по случаю дождя ее отложили на 29. С утра на огромном плацдарме выстроилась дивизия, готовясь к атаке. Верстах в восьми на правом фланге пехота вела демонстративное наступление, привлекая на себя огонь противника. В ложном направлении передвигались части одной кавалерийской дивизии.

Впереди, насколько обнимал глаз, не было видно неприятеля. В версте расстояния от своей сотни Листницкий видел черные брошенные логова окопов, за ними бугрились жита и сизел предрассветный взбитый ветерком туман.

Случилось так, что неприятельское командование или узнало о готовящейся атаке, или предугадало ее, но в ночь на 29-е неприятельские войска покинули окопы и отошли верст на шесть, оставив заставы с пулеметами, которые и тревожили на всем участке противостоящую им нашу пехоту.

Где-то вверху за кучевыми облаками светило восходящее солнце, а долину всю заливал желто-сливочный туман. Была подана команда к атаке, — полки пошли. Многие тысячи конских копыт стлали глухой, напоминающий подземный гул. Листницкий, удерживал своего кровного

коня, не давал ему срываться на галоп. Расстояние версты в полторы легло сзади. К ровному строю атакующих приближалась полоса хлебов. Высокое, выше пояса, жито, все перевитое цепкой повитью и травой, до крайности затрудняло бег лошадей. Впереди все также зыбилась русая холка жита, лежало оно поваленное, исковерканное копытами. На четвертой версте лошади стали спотыкаться, заметно потеть, — противника все не было. Листницкий оглянулся на сотенного командира: на лице есаула — глухое отчаяние...

Шесть верст немыслимо трудной скачки вырвали из лошадей силы, некоторые под всадниками падали, самые выносливые качались, добрая из последних сил. Здесь-то секанули австрийские пулеметы, размеренно захакали залпы... Убийственный огонь выкосил передние ряды. Первыми дрогнули и повернули обратно уланы, смялся казачий полк; их, захлеснувшихся в паническом бегстве, поливали пулеметным дождем, как из пульверизаторов, расстреливали из орудий. Небывалая по размерам атака, благодаря преступной небрежности высшего командования, окончилась полным разгромом. Некоторые полки потеряли половину людского и конского состава; из полка Листницкого выбыло около четырехсот убитыми и ранеными рядовых и шестнадцать офицеров. Под Листницким убили коня, сам он получил две раны: в голову и ногу. Вахмистр Чеботарев, соскочив с коня, схватил его, взвалил на седло, усккал.

Начальника штаба дивизии, полковника генерального штаба Головачева, сделавшего несколько моментальных снимков атаки и показавшего эти снимки офицерам, ударил в лицо, рыдая, раненый сотник Червяков; подскакавшие казаки разорвали Головачева на части, глумились над трупом и бросили его в придорожную канаву, в нечистоты.

Так окончилась эта блестящая бесславною атака.

Из варшавского госпиталя Листницкий сообщил отцу о том, что по излечении приедет к нему в Ягодное использовать отпуск. Старик, получив письмо, заперся в своем кабинете, вышел оттуда на следующий день туча-тучей. Он велел Никитичу заложить рысак в дрожки, позавтракал и укатил в Вешенскую. Сыну перевел телеграфом чetyреста рублей денег, послал короткое письмо.

«Мне остается радоваться, что ты, мой милый мальчик, окрестился огнем. Благородный удел быть там, а не при дворце. Ты слишком честен и не глуп для того, чтобы мог с спокойной совестью пресмыкаться. Этой черты не было ни у кого из нашей фамилии. За это еще твой дед попал в опалу и доживал в Ягодном, не надеясь и не ожидая милости венценосца. Будь здоров, Женя, выздоравливай. Ты у меня один на этом свете — помни. Тетя кланяется тебе; она здравствует, а о себе мне нечего писать, — ты знаешь, как я живу. Что же это творится

там на фронте? Неужто нет людей с рассудком? Не верю я газетной информации, лжива она насквозь, знаю по примеру прошлых лет. Неужто, Евгений, проиграем кампанию?

С великим нетерпением жду тебя домой».

Подлинно нечего было писать старому Листницкому о своей жизни. Волочилась она по-старому однообразная, неизменная, лишь рабочие руки поднялись в цене, да ощущался недостаток в спиртном. Пан пил чаще, стал раздражительней, придиричивый. Как-то вызвал в неурочный час Аксинью, сказал:

— Ты неисправно несешь службу. Почему вчера завтрак был подан холодным? Почему стакан с кофе нечисто вымыт? Если это будет повторяться, то я тебя — слышишь ты? — то я тебя уволю. Не терплю нерях! — резко махнул пан рукой. — Слышишь? — не терплю!

Аксинья крепко сжимала губы и вдруг заплакала.

— Николай Алексеевич! Девочка у меня хворает. Вы ослобоните меня, пока... От нее отойти нельзя.

— Что с ней?

— Глотошная ее душит...

— Скарлатина? Почему не сказала, дура? Эка, чорт тебя задери, шалаву! Беги, скажи Никитичу, чтоб запрягал. В станицу за фельдшером! Живо!

Аксинья выбежала рысью, вслед бомбардировал ее старик гулками басовыми раскатами:

— Дура баба! Дура баба! Дура!

Утром Никитич привез фельдшера. Тот осмотрел обеспамятевшую, объятую жаром девочку, не отвечая на вопросы Аксиньи, пошел в дом к пану. Тот принял его в передней стоя, не подавая руки.

— Что с девчонкой? — спросил, отвечая на приветствие небрежным кивком.

— Скарлатина, ваше превосходительство.

— Выздоровеет? Можно надеяться?

— Едва ли. Умрет девочка... Возраст поимейте в виду.

— Дурак! — побагровел пан. — Чему тебя учили? Ле-чи!

Хлопнув дверью перед носом напуганного фельдшера, зашагал по залу. Постучавшись, вошла Аксинья.

— Фельдшер просит лошадей ему до станицы.

Старик с живостью повернулся на каблуках.

— Скажи ему, что он болван! Скажи ему, что он не уедет отсюда до тех пор, пока не вылечит мне девочку. Во флигеле отведи ему комнату, кор-р-р-ми его! — закричал, потрясая костистым кулаком.

— Пой его, корми, как на убой, а у-е-хать... не уедет! — оборвав, подошел к окну, побарабанил пальцами и, подойдя к увеличенной фотографии сына, снятого ребенком на руках у няни, отступил два шага и долго смотрел, щурясь, словно не угадывая.

В первый же день, как только болезнь свалила девочку с ног, Аксиныя вспомнилась горькая натальина фраза: «Стольются тебе мои слезы...» — и она решила, что это ее бог наказывает за то, что тогда глумилась над Натальей.

Подавленная страхом за жизнь ребенка, она теряла рассудок, бестолково металась, работа валилась у нее из рук.

«Неужели отнимет», — билась неуступно горячечная мысль, и, не веря, всей силой не желая верить, она неистово молилась, просила у бога последнюю милость — сохранить жизнь ребенка.

«Господи, прости!.. Не отнимай! Пожалей, господи! Смилуйся!»

Болезнь душила маленькую жизнь. Девочка лежала пластом, из припухшего горлышка полз трудный прерывистый хрип. Станичный фельдшер, поместившись во флигеле, приходил раза четыре в день, вечерами подолгу стоял на крыльце людской, покуривая, глядя на холодную россыпь осенних звезд.

Ночи напролет простаивала Аксиныя на коленях у кровати. Булькающий хрип полосовал ее сердце.

— Ма-а-ма... — шелестели маленькие спекшиеся губы.

— Зернушко мое, дочушка! — приглушенно звенела мать. — Цветочек мой, не уходи!.. Танюшка, глянь, моя красотушка, открой глазки. Опомнись же! Гулушка моя черноглазая... За што же, господи?..

Девочка изредка поднимала воспаленные веки, налитые кровью дурной глазенки устремляли текучий, неуловимый взгляд. Жадно ловила мать этот взгляд. Он уходил, казалось, внутрь себя, тоскующий, примирный.

Умерла она на руках у матери. В последний раз, всхлипывая, зевнул посиневший ротик, и тельце вытянула судорога, запрокидываясь, катилась с аксиныной руки потная головка; прижмуренный, с мертвым зрачком, смотрел удивленно урюмоватый, мелеховский глазок.

Возле пруда, под старым разлапистым тополем, вырыл дед Сашка крохотную могилку, подмышкой отнес туда гробик, с несвойственной ему торопливостью зарыл его землей и долго, терпеливо ждал, пока поднимется Аксиныя с суглинистого холмика. Не дождался, высморкался, как арапником хлопнул, пошел в конюшню. С сеновала достал флакон одеколону, неполный пузырек денатурированного спирта, смешал в бутылочке и, болтая, любуясь на цвет, сказал:

— Помянем... Царство небесное дитю. Душа ангельская преставилась.

Он выпил, ошалело затряс головой, закусывая раздавленным помидором, и, растроганно глядя на бутылку, сказал:

— Не забудь ты меня, дорогая, а я тебя не забуду! — и заплакал.

Через три недели Евгений Листницкий прислал телеграмму, извещая о том, что получил отпуск и выехал домой. На станцию выслали за ним тройку лошадей, вся дворня стала на ноги: резали индеек, гусей; дед Сашка свежевал барана. Приготовления делались словно перед большим с'ездом гостей.

Накануне в слободу Каменку выслана была подстава. Молодой хозяин приехал ночью. Моросил изморозный дождь, фонари кидали на лужи мерклые дорожки света. У крыльца, позванивая бубенчиками, остановились лошади. Из крытой коляски вышел взволнованный, улыбающийся Евгений. Кинув на руки деду Сашке теплый плащ, он, заметно прихрамывая, поднялся по крыльцу. Из зала, роняя мебель, торопливо шаркал старый пан.

Аксинья подала ужин в столовую и пошла звать к столу; заглянув в замочную скважину, увидела: старик, припав к сыну, целует его в плечо, шея его, в старчески дряблых складках, мелко трясется. Подождав несколько минут, Аксинья заглянула вновь: Евгений, в распахнутом защитном мундире, стоял на коленях перед большой раскинутой на полу картой! Старый пан, выдувая из трубки лохматые кольца дыма, стучал костяками пальцев по ручке кресла, гудел возмущенно:

— Алексеев? Не может быть! Я не поверю!

Евгений что-то глухо и долго говорил, убеждал, водил по карте пальцем. В ответ ему старик сдержанно басил.

— Верховный в данном случае неправ. Узкая ограниченность. Да, помилуй, Евгений, вот тебе аналогичный пример из русско-японской кампании... Позволь!.. Позволь, позволь!

Аксинья постучала.

— Что? Уже подано? Сейчас.

Старик вышел оживленный, веселый. Совсем по-молодому блистали его глаза. Вдвоем с сыном они выпили бутылку вина, вчера только вырытую в выходе из земли. На позеленевшей обомшелой наклейке еще сохранилась выцветшая дата «1879 г.».

Прислуживая и глядя на веселые лица, Аксинья сильнее ощущала свое одиночество. Терзала ее невыплаканная тоска. Первые дни после смерти девочки она хотела и не могла плакать. Рос в горле крик, но слез не было, и оттого каменная горечь давила вдвойне сильнее. Она много спала (искала отдых в сонном забытьи), но и во сне наступал ее призрачный зов ребенка. Ей то казалось, что дочь ее спит рядом с ней, и она отодвигалась, шарила по постели рукой, то слышался невнятный шопот: «Мама, пить...»

— Кровиночка моя... — шептала Акси́нья холодеющими губами.

Даже в гнетущей яви мерещилось ей иногда, что вот, у колен ее, жметя ребенок, и она ловила себя на том, что тянется рукой приласкать курчавую головку.

На третий день после приезда Евгений до-поздна просидел у деда Сашки в конюшне, слушая бесхитростные его рассказы о былой, привольной на Дону жизни, о старине. Он вышел оттуда в девятом часу. На дворе полоскался ветер, слякотно чавкала под ногами грязь. Меж тучами казаковал молодой желтоусый месяц; при свете его Евгений глянул на часы, направился в людскую. У крыльца он закурил, на минуту стал, раздумывая и тряхнув плечами, решительно ступил на крыльцо. Осторожно пожал щеколду, дверь, скрипнув, отворилась. Он вошел в акси́ньину половину, чиркнул спичкой.

— Ктой-то? — спросила Акси́нья, натягивая на себя одеяло

— Это я.

— Я сейчас оденусь.

— Ничего. Я на минутку.

Евгений, сбросив шинель, сел на край кровати.

— У тебя умерла дочушка...

— Умерла... — эхом откликнулась Акси́нья.

— Ты очень изменилась. Еще бы! Я понимаю, что значит потерять ребенка. Но мне думается, что ты напрасно изводишь себя, — к жизни ее не вернешь, а ты еще в достаточной степени молода, чтобы иметь детей. Не надо так. Бери себя в руки, смирись... В конце концов не все потеряно со смертью ребенка, у тебя еще, — подумай! — вся жизнь впереди!

Евгений, сжав руку Акси́ньи, гладил ее с ласковой властью, говорил, играя низкими нотками голоса. Он перешел на шопот и слыша, как Акси́нья вся сотрясается в заглушенном плаче, а плач переходит в рыдания, стал целовать ее мокрые от слез щеки, глаза...

Падкое бабье сердце на жалость, на ласку. Отягощенная отчаянием, Акси́нья, не помня себя, отдалась ему со всей бурной, давно забытой страстностью. А когда схлынула небывало опустошительная, помрачающая волна бесстыдного наслаждения, она очнулась, резко вскрикнула, теряя разум и стыд, выбежала полуголая, в одной рубашке, на крыльцо. Следом за ней, бросив дверь открытой, торопливо вышел Евгений. Он на ходу одел шинель, шел торопливо и когда запыхавшись поднялся на террасу дома — засмеялся радостно, довольно. Его подмывало бодрящее веселье. Уже лежа в постели, потирая пухлую, мягкую грудь, подумал: «С точки зрения честного человека — это подло, безнравственно. Григорий... Я обворовал ближнего, но ведь там на фронте я рисковал жизнью. Могло же так случиться, что пуля взяла бы правее и проды-

рвали мне голову? Теперь я истлевал бы, моим телом нажирались бы черви... Надо с жаждностью жить каждый миг. Мне все можно». Он на минуту ужаснулся своим мыслям, но воображение вновь вылепило страшную картину атаки и того момента, когда он поднялся с убитого коня и упал, срезанный пулями. Уже засыпая, успокоенно решил: «Завтра об этом, а сейчас спать, спать...»

На следующий день утром, оставшись в столовой наедине с Аксиной, он подошел к ней, виновато улыбаясь, но она прижалась к стене, вытягивая руки, опалила его яростным шопотом:

— Не подходи, проклятый!..

Свои неписанные законы диктует людям жизнь. Через три дня ночью Евгений вновь пришел в половину Аксины, и она его не оттолкнула.

XXIII

К глазной лечебнице доктора Снегирева примыкал маленький садок. Таких неуютных стриженных садов много по окраинным переулкам Москвы, в них не отдыхает глаз от каменной тяжелой скуки города и еще резче и больней вспоминается при взгляде на них дикое приволье леса. В больничном садике хозяйничала осень: крыла дорожки оранжевой бронзой листьев, утренними заморозками мяла цветы и водянистой зеленью наливала на газонах траву. В погожие дни по дорожкам гуляли больные, вслушиваясь в переливы церковных звонов богомольной Москвы. В ненастье (а в этом году оно преобладало) слонялись из палаты в палату, лежали на койках, отмалчивались, прискучившие и самим себе и друг другу.

В лечебнице преобладали гражданские больные, — раненные помещались в одной палате; было их пять человек: Ян Варейкис, высокий, русый латыш, с окладистой подстриженной бородой и голубыми круглыми глазами; Иван Врублевский, двадцативосьмилетний красавец, драгун, уроженец Владимирской губернии; сибирский стрелок Косых; вертявый желтый солдатиска Бурдин и Мелехов Григорий. В конце сентября привезли еще одного. Во время вечернего чая продолительно затрепетал звонок. Григорий выглянул в коридор. В переднюю вошли трое: сестра милосердия и человек в черкеске; третьего они поддерживали под руки. Он, наверное, только-что прибыл с вокзала — об этом свидетельствовала его грязная солдатская гимнастерка с кровавыми бурыми следами на груди. Ему вечером же сделали операцию. После недолгих приготовлений (в палаты доносился шум — кипятили инструменты) в операционную привели новопривывшего. Спустя несколько минут оттуда послышалась приглушенная песня: пока раненому удаляли остаток глаза, раздробленного осколком, он, усыпленный хлороформом,

пел и невнятно ругался. После операции его принесли в палату к раненым. Через сутки тяжкая одурь хлороформа вышла из мозгов, и он рассказал, что был ранен под Вербергом, на германском фронте, фамилия его — Гараджа, был пулеметчиком, родом сам из Черниговской губернии. За несколько дней он особенно близко сошелся с Григорием, койки их стояли рядом, и они, уже после вечернего обхода, шопотом подолгу разговаривали.

— Ну, казак, як дила?

— Как сажа бела.

— Глаз — шо ж вин?

— Хожу на уколы.

— Скильке сдилалы?

— Восемнадцать.

— Больно, чи ни?

— Нет, сладко.

— А ты, попроси, щоб воны геть его выризалы.

— Не всем косым быть.

— Це так.

Желчный, язвительный сосед Григория был недоволен всем: ругал, власть, войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов, — все, что попадало на острый его язык.

— За шо, мы с тобой, хлопче, воювалы?

— За што все, за то и мы.

— Та ты скажи мини толком.

— Отвяжись!

— Га! Дуркан ты! Це дило треба ражжуваты. За буржуив мы воювалы, чуешь? Шо-сь це таке буржуй? Птыца така у коноплях живет...

Он раз'яснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным забористым перцем.

— Не тарахти! Не понимаю хохлячьего твоего языка! — перебивал его Григорий.

— Ось тоби! Шо ж ты, куркуль, не понимаешь?

— Реже говори.

— Я ж, мий ридненький, и то балакаю не тусто. Ты кажешь — за царя, шо ж воно таке царь? Царь — каплюга, царица — курва, паньским грошам от войны прибавка, а нам на шею... удавка. Чуешь? Ось! Хвабрикант горилку пье, солдат вошку бье — трудно обоим... Хвабрикант с барышом, а рабочий нагишом, так вино порядком и пластуетця. Служи, казак, служи! Ще один крест заробишь, гарный, дубовый!.. — говорил он по-хохлачи, но в редкие минуты, когца волновался, переходил на великорусский язык и, уснащая его ругательствами, из'яснялся чисто.

Изю дня в день внедрял он в ум Григория досель неизвестные ему истины, разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа забивал его втупик простыми, убийственно простыми вопросами, и Григорий вынужден был соглашаться.

Самое страшное в этом было то, что он сам в душе чувствовал правоту Гаранжи и был бессилён противопоставить ему возражения, не было их и нельзя было найти. С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой хохол постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге.

В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой бесхитростный ум Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума задачи, и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи.

Поздней ночью однажды Григорий встал с постели и разбудил Гаранжу. Он подсел к нему на кровать. В окно сквозь приотпущенную штору тек зеленоватый свет сентябрьского месяца. Щеки проснувшегося Гаранжи темнели супесными рытвинами, влажно блестели черные впадины глазниц. Он зевал и зябко кутал ноги в одеяло

— Шо не спишь?

— Сну нету. Сон от меня уходит Ты мне об'ясни вот што: война одним на пользу, другим в разор...

— Ну? Ахха-а-а... — зевнул Гаранжа.

— Погоди! — зашептал Григорий, опалемый гневом — Ты говоришь, что на потребу капиталистам нас гонят на смерть, а как же народ? Аль он не понимает? Неужели нету таких, штоб могли рассказать? Вышел бы и сказал: «Братцы! Вот за што вы гибнете в кровях!».

— Як це так — вышел? Ты, шо, сказывся? А ну побачил бы я, як ты вышел. Мы ось с тобой шепчемся, як гуси у камыши, а гавкни ризко — и пид пулю. Черная глухота у народи. Война его побудить. Из хмары посля прому дож буде...

— Што же делать? Говори, гад! Ты мне сердце разворошил.

— А шо тоби сердце каже?

— Не пойму, — признался Григорий.

— Кто мини с кручи пихае, того я пихну! Треба не лякаясь повернуть винтовки. Треба у того запнать пулю, кто посилае людей у пакло. Ты знай, — Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки, — пидниметця велика хвьяля, вона усэ снесэ!

— По-твоему, што ж?.. все вверх ногами надо поставить?

— Га! Власть треба, як грязны портки, скинуть. Треба с панив овчину драть, треба им губы рвать, бо гарно воны народ помордували.

— А при новой власти войну куда денешь? Так же будут клочиться, — не мы, так дети наши. Войне — чем укороть дашь? Как ее унистожить, раз извеку воюют?

— Верно, война испокон веку и до той гордыни вона не переведетца, поки буде на свити дурноедська власть. От! А як була б у каждом государстве власть рабоча, тоди б не воювали. То и треба зробить. А де буде, в дубову домовыну их мать... Буде! И германцев, и у хранцузив, у всих заступит власть рабоча и хлиборобска. За шо ж мы тоди будемо брухатця? Граными—геть! Чорну злобу—геть! Одна по всиму свиту буде червонна жизнь. Эх!—Гаранжа вздохнул и, покусывая кончики усов, блистая единственным глазом, мечтательно улыбнулся. — Я б, Грыцько, кровь свою руду по капли выцдыв бы, шоб дожить до такого... Полымя мини сердцевино лиже...

Они проговорили до рассвета. В серых сумерках забылся Григорий беспокойным сном.

Утром его разбудили голоса и плач. Иван Врублевский, лежа на кровати вниз лицом, всхлипывал, сморкался; вокруг него стояли фельдшерица, Ян Варейкис и Косых.

— Чево он хлопает? — высунув голову из-под одеяла, захрипел Бурдин.

— Глаз разбил. Начал из стакана вынать и кокнул его об пол, — скорее с злорадством, чем с сожаленьем ответил Косых.

Какой-то обрусевший немец-торговец искусственными глазами, движимый патриотическими побуждениями, выдавал их солдатам бесплатно. Накануне Врублевскому подобрали и вставили стеклянный глаз, тончайшей работы, такой же голубой и красивый, как и настоящий. Настолько художественно был он сделан, что даже при внимательном изучении нельзя было отличить подлинный глаз от искусственного. Врублевский радовался и смеялся, как ребенок.

— Приду домой, — говорил он по-владимирски окая, — любую девку обману.

— Женюсь, а потом признаюсь, что глаз-то стеклянный.

— Омманет, язви его! — хохотал Бурдин, постоянно напевавший о Дуне и о таракане, который прогрыз Дуне сарафан.

И вот несчастная случайность — и красавец парень вернется в родную деревню косым уродом.

— Новый дадут, не реви, — утешил Григорий.

Врублевский поднял опухшее от слез лицо с красной мокрой дыркой вместо глаза.

— Не дадут. Глаз — он триста рублей стоит. Не дадут!

— Глаз был, так глаз. Кажна жилка на ем прорисована, — восторгался Косых.

После утреннего чая Врублевский поехал с фельдшерницей в магазин к немцу, и тот вновь подобрал глаз.

— Немцы-то — они лучше русских, — неистовствовал в восторге Врублевский, — у русского купца — хрен выпросишь, а этот и слова не сказал.

Минул сентябрь. Время скупотсчитывало дни. Тянулись они нескончаемо-длинные, налитые мертвящей скукой. По утрам в девять пили чай. Каждому больному на тарелочке подавали два чахлых прозрачных ломтика французской булки и кусочек сливочного масла величиной с мизинец; после обеда расходились голодные, вечером пили чай, для разнообразия запивая его холодной водой. Состав больных менялся. Из «военной палаты» (так окрестили больные палату, где лежали раненые солдаты) первым выписался сибиряк Косых, за ним последовал латыш Варейкис. В последних числах октября выписали Григория.

Красивый, с подстриженной бородкой хозяин больницы доктор Снегирев на испытании признал зрение Григория удовлетворительным. В темной комнате ему показывали на известном расстоянии освещенные большие буквы и цифры. Его выписали и направили в госпиталь на Тверской, так как залеченная рана на голове неожиданно открылась, и появилось легкое нагноение. Прощаясь с Гаранжой, Григорий спросил:

— Увидимся ли?

— Гора с горой не сходитця...

— Ну, хохол, спасибо, што глаза мне открыл. Теперь я зрячий и злой.

— У полк прийдешь — побалакай на цей счет с казакамы.

— Ладно.

— Мабудь доведетця бывать у Черниговщини в слободе Гороховки, спрашивай коваля Андрия Гаранжу, рад буду тебя бачить. Прощувай, хлопче!

Они обнялись. Надолго сохранила память Григория образ хохла с суровым единственным глазом и ласковыми линиями рта на супесных щеках.

В госпитале Григорий провалялся недели полторы. Он вынашивал в душе неоформленные решения, бродил в нем терпкий пагубный яд гаранжевского ученья, желчь его передалась и Григорию. С соседями по палате он говорил мало, некое тревожное смятение сквозило в каждом его движении. «Беспокойный», — так охарактеризовал его при приеме заведывающий госпиталем, бегло осматривая нерусское лицо Григория.

Первые дни Григория лихорадило, лежал он на койке, вслушиваясь в неумолчные звоны в ушах.

В это время и произошел инцидент.

Проездом из Воронежа госпиталь высочайше соизволила посетить особа императорской фамилии. Уведомленные об этом с утра лица врачебного персонала госпиталя заматались, как мыши в горящем амбаре. Раненых приодели, беспокоя их, внеочередно сменили постельное белье, младший врач даже пытался учить, как отвечать особе и как держать себя в разговоре с оной. Тревога передалась и раненым; некоторые заранее стали говорить шопотом. В полдень у под'езда звякнул автомобильный рожок, и в сопровождении должного количества свиты в настежь распахнутые двери госпиталя вошла особа. Один из раненых, весельчак и балагур, уверял после товарищей, что к моменту под'езда именитых посетителей госпитальный флаг, с красным крестом, вдруг буйно затрепыхался, несмотря на то, что погода стояла на редкость ясная и безветренная, а на противоположной стороне на вывеске парикмахерского заведения элегантно завитой мужчина сделал нечто похожее на коленопреклонное движение или реверанс. Начался обход палат. Особа задавала приличествующие ее положению и обстановке нелепые вопросы; раненые, по совету младшего врача, вылипив глаза больше той меры, которой учили их в строю, отвечали: «точно так, ваше императорское высочество» и «никак нет», — с приложением этого же титула. Комментарии к ответам давал заведывающий госпиталем, причем вился он, как уж, ущемленный вилами, и даже издали на него было жалко смотреть. Царственная особа, переходя от койки к койке, раздавала иконки. Толпа блестящих мундиров и густая волна дорогих духов надвигалась на Григория. Он стоял возле своей койки небритый, худой, с воспаленными глазами; мелкая дрожь острых коричневатых скул выдавала его волнение.

«Вот они, на чью радость нас выгнали из родных куреней и кинули на смерть. Ах, гадушки! Проклятые! Дурноеды! Вот они самые едучие вши на нашей хребтине!.. Не за эту ли... топтали мы конями чужие хлеба и убивали чужих людей? А полз я по жнивью и кричал. А страх? Оторвали от семьи, морили в казарме...» — клубился в голове его кипящий ком мыслей. Пенная злоба поводила его губы. «Сытые какие все, аж блестят... Туда б вас, трижды проклятых! На коней, под винтовку, вашими вас засыпать, гнилым хлебом, мясом червивым кормить...»

Григорий низал глазами лощеных офицеров свиты и останавливал мерзлый взгляд на сумчатых щеках члена императорской фамилии.

— Донской казак, георгиевский кавалер, — изгинаясь, указал на него заведывающий, и таким тоном было это сказано, словно он сам заслужил этот крест.

- Какой станицы? — спросила особа, держа наготове иконку.
- Вешенской, ваше императорское высочество.
- За что имеешь крест?

В светлых пустых глазах особы тлела скука, пресыщенность. Рыжеватая левая бровь зученно приподнималась — это делало лицо особы более выразительным. Григорий на мгновение ощутил холодок и покалыванье в груди — такое чувство являлось в первый момент атаки. Губы его неудержимо кривились, прыгали.

— Я бы... мне бы по надобности сходить... по надобности, ваше императорское... по малой нужде... — Григорий качнулся, словно переломленный, указывая широким жестом под кровать.

Левая бровь особы стала в дыбошки, рука с иконкой застыла на полпути. Особа, недоуменно свесив брюзглую губу, повернулась к сопутствовавшему ей седому генералу с фразой на английском языке. Еле заметное замешательство тронуло господ — свиту: высокий офицер с эксельбантами рукой, затянутой в белоснежную перчатку, коснулся глаз, второй потупил голову, третий с вопросом глянул в лицо четвертому... Седой генерал, почтительно улыбаясь, на английском языке что-то доложил их императорскому высочеству, и особа соизволила милостиво сунуть в руки Григория иконку и даже одарить его высшей милостью — коснуться рукой его плеча.

После отъезда высоких гостей Григорий упал на койку, зарывшись с головой в подушку лежал несколько минут, вздрагивая плечами, — нельзя было понять: плакал он или смеялся, но встал с сухими проясневшими глазами. Его сейчас же вызвал в кабинет заведывающий госпиталем.

— Ты, каналья. — начал он, комкая в пальцах бороду, цвет линялой заячьей шкурки.

— Я тебе не каналья, — гад! — не владея нижней отвисшей челюстью, сказал Григорий, шагая к доктору, — на фронте вас нету! — И осилив себя, уже сдержанней. — Отправьте меня домой.

Доктор, пятясь от него, зашел за письменный стол, сказал мягче.

— Отправим. Убирайся к чорту!

За его чудовищную выходку в присутствии высокой особы администрация госпиталя лишила его питания на трое суток. Кормили его товарищи по палате и сердобольный, страдавший от прыжи, повар.

XXIV

В ночь на 4 ноября Григорий Мелехов пришел в Нижне-Яблоновский, первый от станицы казачий хутор Вешенского юрта. До имения Ягодного оставалось несколько десятков верст. Григорий, будоража собак, шагал

мимо редких дворов; за приречными вербами молодые ребячьи голоса вели песню:

А из-за леса блестят копия мечей,
Едет сотня казаков усачей.
Попереди офицер молодой,
Ведет сотню казаков за собой

Сильный чеканно-чистый тенор заводил:

За мной, братцы, не робей,

Дружные спевшиеся голоса лихо подхватывали:

На завалы поспешай поскорей.
А кто первый до завалов добежит,
Тому честь и крест и слава надлежит.

Неиз'яснимо родным, теплым повеяло на Григория от знакомых слов давнишней, казачьей и им не раз ипранной песни. Щиплющий холодок покалывал глаза, теснил грудь. Жадно вдыхая горький кизячный дым, выползавший из труб куреней, Григорий проходил хутор, — вслед ему несло:

На завалах мы стояли, как стена,
Пуля сыпалась, летела, как пчела.
А и что это за донские казаки,—
Они рубят и сажают на штыки.

«Давно играл я, парнем, а теперь высох мой голос и песни жизнь обрезала. Иду вот к чужой жене на побывку, без угла, без жилья, как волк баерачный...» — думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно-сложившейся жизнью. Из хутора поднялся на косой бугор, оглянулся: в просвете окна последнего куреня лазорево желтел огонь висячей лампы; у окна за прялкой сидела пожилая женщина. Сойдя с дороги, Григорий пошел по влажно хрупкой, скованной морозцем траве. Он решил переночевать на первом хуторе по Чиру, чтобы на следующий день засветло добраться до Ягодного.

Уже за полночь пришел на хутор Грачев, в крайнем дворе заночевал и вышел лишь только чуть поредели лиловые утренние сумерки.

Ночью он был в Ягодном. Неслышно перепрыгнув через забор, шел мимо конюшни, оттуда звучал гулкий кашель деда Сашки. Григорий остановился, окликнул:

— Дед Сашка, спишь?

— Погоди, кто такое? Голос опознаю... Кто это?

Дед Сашка, накинув зипун, вышел на двор.

— Отцы святители! Гришка! Откуда ты холера взяла?.. Вот так гость!

Они обнялись. Дед Сашка, снизу засматривая в глаза Григорий, сказал:

- Зайди покурим.
- Нет, завтра уж. Пойду.
- Зайди, тебе говорят.

Григорий нехотя повиновался. Он присел на досчатую кровать, ждал пока дед Сашка откашляется.

- Ну, дидко, живешь, землю топчешь?
- Топчу помаленечку. Я, как ружье кремневое, мне износу не будет.

- Аксинья?
- Што ж Аксинья... Аксинья, слава богу.

Дед натужно закашлялся. Григорий догадался, что кашель его притворен, скрывает смущение.

- Танюшку где похоронили?
- В саду. Под тополем.
- Так. Рассказывай.
- Кашель меня, Гриша замучил...
- Ну?

— Все живы здоровы. Пан вот попивает... Пьет глупой человек без рассудку.

- Аксинья — как?
- Аксинья? Она в горничных теперь.
- Я знаю.

— Ты бы покурить свернул? А? Закуривай, — у меня табачок первый сорт.

— Не хочу, да ты говори, а то уйду. Я чую,— Григорий тяжело повернулся; досчатая кровать под ним хряпнула, — чую, что ты слово какое-то, как камень за пазухой, держишь. Бей, што ли!

- И вдарю!
- Бей!

— Вдарю! Силов я не набрал молчать, и мне, Гриша, молчать при-
сборбно.

— Рассказывай же, — попросил Григорий, с каменной тяжестью, ласково опуская ладонь на дедово плечо. Спорбившись, ждал.

— Змею ты грел! — вдруг резким фальцетом выкрикнул дед Сашка, нелепо топыря руки.

- Гадюку прикормил! Она с Евгением сваялась. Каков голос?

На подбородке деда, по канальцу розового шрама, сполза бусинка клейкой слюны. Дед смахнул ее, ладонь вытер о суровые холщевые подштанники.

- Верно говоришь?

— Сам видал. Кажну ночь к ней таскается. Иди, он должно и сейчас у ней.

— Ну што ж... — Григорий хрустнул маслаками пальцев и долго сидел сгорбившись, выправляя мускул щеки, сведенной судорогой. В ушах его раздольными бубенцами разливались звоны.

— Баба — кошка, кто погладил, к тому и ластится.

— А ты не верь, веры не давай!

Дед Сашка свернул Григорию цыгарку, зажег и сунул в руки

— Покури.

Григорий два раза затянулся и затушил в пальцах цыгарку. Вышел молча. У окна людской остановился, глубоко и часто дышал, несколько раз подымал руку постучать, но рука падала, как перебитая. Первый раз стукнул сдержанно, согнутым пальцем, потом, не владея собой, привалился к стене и бил кулаками в раму, яростно, долго. Рама вопила дребезжащим звоном стекла, шаталась, в ней рябился синий ночной свет... Мелькнуло удлиненное страхом лицо Аксиньи. Она открыла дверь и вскрикнула. Григорий обнимал ее здесь же, в сенцах, заглядывая в глаза.

— Стучал ты как, а я уснула... Не ждала... Любимый мой!..

— Озяб я...

Аксинья чувствовала, как в крупной дрожи сотрясается все большое тело Григория, а руки его пламенно горячи. Она проявляла чрезмерную суетливость: зажгла огонь, бегала по комнате, накинув на выхоленные матовые плечи пуховый платок, разводила на загнетке огонь.

— Не ждала... Давно не писал... Думала не придешь ты... Ты получил от меня последнее письмо? Хотела тебе гостинцев послать, а потом, думаю, погожу — может, от него письмо получу...

Она изредка взглядывала на Григория, на красных губах ее не таяла замерзшая улыбка.

Григорий сидел на лавке, не скидая шинель. Небритые щеки его пылали, на опущенные глаза падала из-под башлыка густая тень. Он начал-было развязывать башлык, но вдруг засуетился, достал кисет, искал в карманах бумагу. С необъятной тоской он бегло осмотрел лицо Аксиньи. Она чортовски похорошела за время его отсутствия. Что-то новое, властное появилось в посадке красивой головы, лишь пушистые крупные кольца волос были те же, да глаза... Губительная огневая ее красота не принадлежала ему. Еще бы — ведь она любовница панского сына.

— Ты... непохожа на горничную, — на экономку, скорее. — Она метнула пугливый взгляд, принужденно засмеялась.

Волоча за собой сумку, Григорий пошел к двери

— Ты куда?

- Покурить выйду.
- Яишня сжарилась, погоди.
- Я зараз.

На крыльце Григорий достал со дна солдатского подсумка бережно завернутый в клейменую чистую рубаху расписной платок. Его купил он в Житомире у торговца-еврея за 2 рубля и хранил, как зеницу ока, вынимал на походе и любовался его переливчатой радугой цветов, предвкушал то восхищение, которое охватит Аксинью, когда он, вернувшись домой, развернет перед ней узорчатую ткань. Жалкий подарок! Ему ли соперничать в подарках с сыном богатейшего помещика в верховьях Дона? Поборов подступившее сухое рыданье, Григорий разорвал платок на мелкие части, сунул под крыльцо. Кинув сумку на лавку, вошел в комнату.

— Садись, я разую тебя, Гриша.

Белыми, отвыкшими от работы руками Аксинья стащила с Григория тяжелые солдатские сапоги и, припав к его коленям, долго беззвучно рыдала. Григорий дал ей выплакаться, спросил:

— Чево ж ты кричишь? Аль не рада мне?

Уснул он скоро. Аксинья раздетая вышла на крыльцо и под холодным пронизывающим ветром, под похоронный вой сиверки простояла на крыльце, обняв мокрый столб, не меняя положения, до рассвета.

Утром Григорий одел шинель, пошел в дом. Старый пан стоял у крыльца, одетый в меховую куртку и пожелтевшую каракулевую папаху.

— Вот он, георгиевский кавалер. Однако, ты возмужа-а-а-ал, брат! Он козырнул Григорию и протянул руку.

— Надолго прибыл?

— На две недели, ваше превосходительство.

— Дочь-то похоронили. Жаль, жаль...

Григорий промолчал. На крыльцо, натягивая перчатки, выходил Евгений.

— Григорий? Ты откуда?

У Григория темнело в глазах, но он улыбался.

— Из Москвы, в отпуск.

— Вот как. У тебя ранение в глаз?

— Так точно.

— Я слышал. Каким он молодцом стал... а, папа?

Сотник кивнул головой на Григория и повернулся лицом к конюшне.

— Никитич, лошадей!

Степенный Никитич кончил запряжку и, неприязненно косясь на Григория, подвел к крыльцу старого серого рысака. Под колесами

легонойкой пролетки хрупко шуршала, сдавливалась сшитая ледком земля.

— Ваше благородие, позвольте вас прокатить, по старой памяти?— обратился Григорий к Евгению, заискивающе улыбаясь.

«Не догадывается, бедняк», — удовлетворенно улыбнулся тот и блеснул из-под пенсне глазами.

— Что ж, сделай милость, поедем

— Ты что же это, не успел приехать и бросаешь молодую жену? Не соскучился разве? — старый пан милостиво улыбнулся.

Григорий засмеялся.

— Жена — не медведь, в лес не уйдет.

Он сел на козлы, подоткнув под сиденья кнут, расправил вожжи.

— Эх, и прокачу ж я вас, Евгений Николаевич!

— Прокати, на чай получишь.

— Премного вами довольны. И так списибо, што Аксинью мою кормите, кусок ей... даете.

Голос Григория рвался, и у сотника шевельнулось нехорошее подозрение. «Неужели знает? Ну, глупости! Откуда? Не может быть» Он откинулся на спинку сиденья, закурил папиросу.

— Возвращайтесь поскорей, — крикнул вслед им старый пан

Из-под колес рванулась иглистая морозная пыль.

Григорий рвал вожжами губы рысаку и довел бег его до предельной резвости. Они за четверть часа перевалили через бугор. В первой же ложбинке Григорий соскочил с козел и выдернул из-под сиденья кнут

— Ты что? — нахмурился сотник.

— А вот... што!

Григорий коротко взмахнул кнутом, со страшной силой ударил сотника по лицу. Перехватив кнут, он бил кнутовищем по лицу, по рукам, не давая сотнику опомниться. Осколок разбитого пенсне врезался ему выше брови. На глаз падали струйки крови. Сотник вначале закрывал лицо руками, но удары учащались. Он вскочил с лицом обезображенным подтеками и яростью пробовал защищаться, но Григорий, отступая, ударом в кисть парализовал ему правую руку.

— За Аксинью! За меня! За Аксинью! Ишо тебе за Аксинью! За меня!

Кнут свистал. Мягко шлепали удары. Потом кулаками свалил на жесткий кочкарник дороги и катал по земле, бил зверски, окованными каблуками солдатских сапог. Обессиленный, сел в пролетку, гикнул и, губя рысачьи силы, перевел его на намет. Пролетку бросил около ворот, комкая кнут, путаясь в полах расплагнутой шинели, бежал в людскую.

Аксинья на гром откинутой двери оглянулась.

— Гадина!.. Сука!..

Взвизгнув, кнут плотно обвил ее лицо.

Задыхаясь Григорий выбежал во двор, не отвечая на вопросы деда Сашки пошел из имения. Версты через полторы его догнала Аксинья. Она бурно дышала и шла рядом молча, изредка трогая рукой Григория.

На развилке дорог, возле бурой степной часовни, она сказала чужим, далеким голосом.

— Гриша, прости!

Григорий оскалил зубы, горбясь, поднял воротник шинели. Где-то зади у часовни осталась Аксинья. Григорий не отглянулся ни разу, не видел протянутых к нему аксиньиных рук.

На спуске с горы в хутор Татарский, он, недоумевая, увидел в руках своих кнут, бросил его, крупно зашагал по проулку. К окошкам липли лица, изумленные его появлением, низко кланялись угадывавшие его встречные бабы.

У ворот своего база сухощавая черноглазая красавица-девка с разбегу с визгом кинулась ему на шею, забилась на груди. Стиснув ладонями ее щеки, Григорий приподнял голову и угадал Дуняшку.

С крыльца хромал Пантелей Прокофьевич, в курене в голос заплакала мать. Григорий левой рукой обнимал отца, правую целовала Дуняшка. Знакомый до боли скрип порожек, — и Григорий на крыльце. Постаревшая мать подбежала с живостью девочки, вымочила слезами петлицы шинели и неотрывно обнимала сына, лепетала что-то свое, несвязное, непередаваемое словами, а в сенцах, цепляясь за дверь, чтобы не упасть, стояла побледневшая Наталья; мучительно улыбалась, падала срезанная беглым, растерянным взглядом Григория.

Ночью Пантелей Прокофьевич, толкая в бок Ильинишну, шептал:

— Глянь потихоньку: вместе легли али нет?

— Я постелила им на кровати.

— А ты глянь, глянь!

Ильинишна глянула через дверную щель в горницу, вернулась.

— Вместе.

— Ну, слава богу! Слава богу! — закрестился старик, приподнимаясь на локте, всхлипывая.

(Конец третьей части).